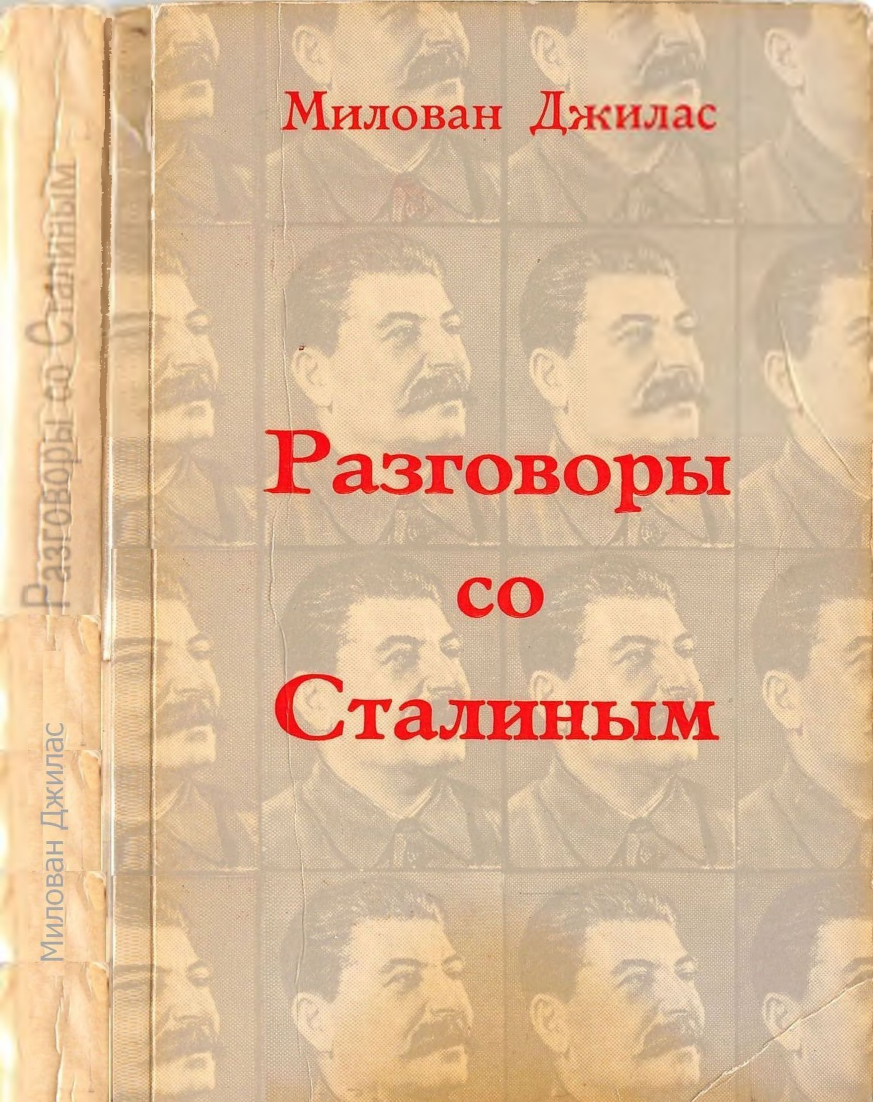

Милован Джилас
Разговоры
со
Сталиным
Разговоры со Сталиным
Милован Джилас


ПОСЕВ

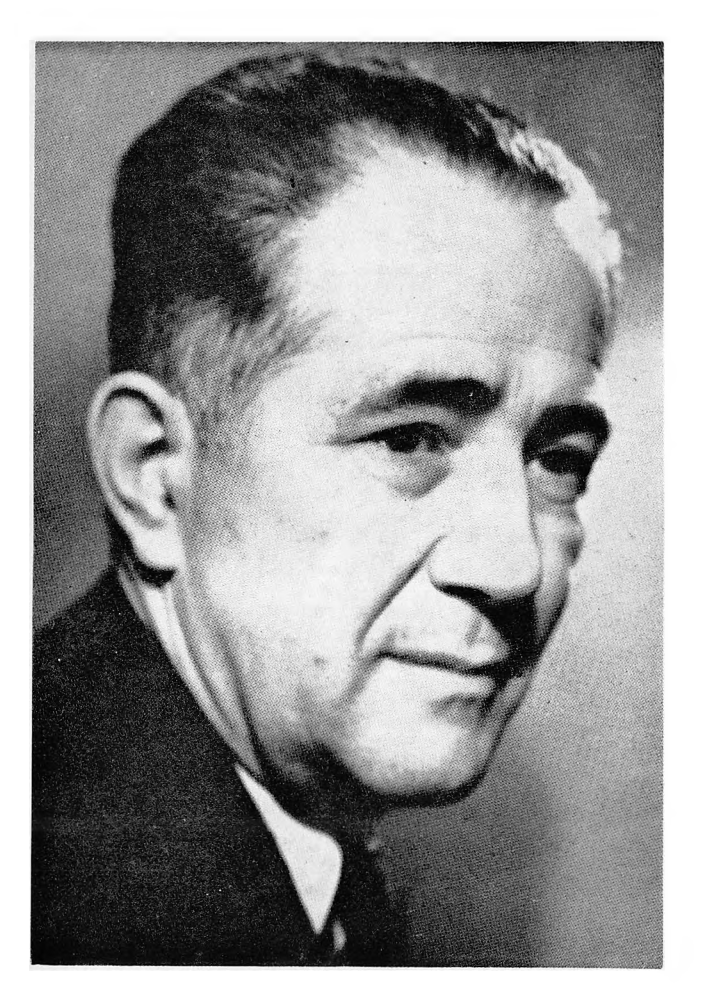
Милован Джилас

Разговоры со Сталиным

ПОСЕВ

Подлинное название:
Милован Ђилас
Разговори са Стаљином

Перевод с сербскохорватского
Я. Трушнович



ПАМЯТИ

ЭНЬЮРИНА БЕВИНА

Для человеческой памяти естественно очищать себя от излишнего; в ней сохраняется лишь наиболее важное для последующих взаимоотношений. Но в этом и ее недостаток — память всегда пристрастна, она непременно изменяет ушедшую в прошлое реальность соответственно нынешним надобностям и надеждам на будущее.

Зная об этом, я старался в предлагаемой книге изложить факты как можно более точно. И если, несмотря на все, она не свободна от моих сегодняшних взглядов, то это следствие не моей злой воли или пристрастности борца, а скорее всего — упомянутого свойства самой памяти и попыток осветить прошлые встречи и события с учетом сегодняшнего опыта.

Почти все, о чем идет здесь речь, опытному читателю уже известно из опубликованной мемуарной и иной литературы. Но поскольку событие становится более рельефным и понятным, если оно описано со многими подробностями и рассмотрено с различных точек зрения, я подумал, что не будет излишним, если и я что-то расскажу. Я считал, что люди и человеческие отношения важнее сухих фактов, и этому посвятил наибольшее внимание. А то, что в книге есть места, которые можно было бы назвать литературными отступлениями, следует отнести не столько к моему способу выражения мыслей, сколько к желанию сделать предмет более интересным, более ясным и осязаемым.

Когда я работал над своей автобиографией, то в 1955 или 1956 году мне пришла мысль собрать свои встречи со Сталиным в особую книжку, которую

можно было бы напечатать заранее и отдельно. Но вскоре я попал в тюрьму, где было несподручно заниматься такого рода литературой, поскольку она хотя и относилась к прошлому, но неминуемо должна была затрагивать и нынешние политические отношения.

Только выйдя из тюрьмы, в январе 1961 года, я вернулся к своему прежнему замыслу. Естественно, что на этот раз из-за переменившихся условий и эволюции моих собственных взглядов я должен был подойти к этой теме несколько иначе. Больше внимания я обратил теперь на психологическую, человеческую сторону дела. И еще — несмотря на то, что мы во многом далеко отошли от Сталина, о нем продолжают писать настолько разноречивые вещи, его существо еще настолько живо, что и я счел необходимым на основании собственного опыта и знаний добавить заключение по поводу этой поистине загадочной личности.

Но больше всего меня побуждает внутренняя необходимость не оставлять недосказанным ничего, что могло бы принести пользу пишущим историю, а в особенности борцам за более свободную жизнь человека.

Во всяком случае и я и читатель должны быть удовлетворены, если правда осталась неискаженной, хотя и облеченной в мои чувства и мысли. Надо примириться с тем, что правда о людях и человеческих отношениях, как полна бы она ни была, всегда останется правдой конкретных людей, людей своего времени.

Белград, ноябрь 1961 г.

УВЛЕЧЕНИЕ

1

Первой иностранной военной миссией при Верховном штабе Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии была британская — она приземлилась в мае 1943 года. Советская военная миссия прибыла девять месяцев спустя, в феврале 1944 года.

Вскоре после прибытия советской военной миссии было решено направить и в Москву югославскую военную миссию, тем более, что такая миссия при соответствующем британском командовании уже существовала. Верховному штабу, вернее, членам Центрального комитета Коммунистической партии Югославии, которые тогда работали в Штабе, очень хотелось послать миссию в Москву. Думаю, что Тито в устной форме высказал это начальнику советской миссии генералу Корнееву, но несомненно, что этот вопрос был разрешен телеграммой советского правительства.

Посылка миссии в Москву имела для югославов разностороннее значение, а сама миссия — иной характер и во многом другие задачи, чем миссия при британском командовании.

Как известно, партизанское и повстанческое движение в Югославии против оккупантов и их местных помощников организовала Коммунистическая партия Югославии. Разрешая свои национальные проблемы в жесточайшей вооруженной борьбе, она продолжала считать себя членом мирового коммунистического движения, неотделимым от Советского Союза — «родины социализма».

Непосредственному руководству партии — Политбюро, удалось на протяжении всей войны поддерживать радиосвязь с Москвой. Формально это была связь с Коммунистическим интернационалом — Коминтерном, но фактически и с советским правительством.

Специфические условия борьбы и существования революционного движения уже неоднократно вызывали недоразумения с Москвой.

Как наиболее значительные упомяну следующие.

Москва никак не могла до конца понять югославскую революционную действительность, а именно, что в Югославии одновременно с борьбой против оккупантов происходит и внутренняя революция. В основе этого непонимания лежало опасение советского правительства, как бы западные союзники, в первую очередь Великобритания, не высказали недовольства, что СССР через свои коммунистические филиалы извлекает выгоду из бедствий военного времени в оккупированных странах, расширяя революцию и свое влияние. Борьба югославских коммунистов, как это часто бывает с новыми явлениями, разорвала рамки установившихся взглядов и непреложных интересов советского правительства и государства.

Москва не поняла и особого характера борьбы в Югославии. Хотя борьбой югославов были воодушевлены не только солдаты, сражавшиеся за сохранение русской национальной самобытности от германского нацистского нашествия, но и официальные советские круги, все же эти последние недооценивали ее, так как сравнивали со своим партизанским движением и его методами ведения борьбы. Партизаны в Советском Союзе были вспомогательной, второстепенной силой Красной армии и никогда не

стали регулярной армией. Исходя из собственного опыта, советская верхушка не могла понять, что югославские партизаны могут превратиться в регулярную армию и государственную власть, а тем самым обрести собственный характер и интересы, отличающиеся от советских — начать самостоятельное существование.

В связи с этим, весьма значительным, а может быть и решающим, был для меня такой случай:

Во время так называемого Четвертого наступления, в марте 1943 года, дошло до переговоров между Верховным штабом и местным немецким командованием. Поводом для переговоров был обмен пленными, а суть сводилась к тому, что немцы должны признать за партизанами права воюющей стороны, что прекратило бы взаимные убийства раненых и пленных. Кроме того, Верховный штаб, главные силы революционных войск и тысячи раненых находились тогда в смертельной опасности и нам была крайне необходима любая передышка. Обо всем этом надо было сообщить Москве. Но мы понимали — Тито потому, что знал Москву, а мы с Ранковичем более подсознательно — что ей не следует говорить всей правды. Было сообщено только, что мы ведем с немцами переговоры об обмене пленными.

Но в Москве даже не попытались войти в наше положение, тут же в нас усомнившись и — несмотря на уже пролитые нами потоки крови — ответили нам очень резко. Я помню, как на мельнице возле реки Рамы, незадолго до нашего прорыва через Неретву в феврале 1943 года, реагировал на все это Тито:

«Мы обязаны заботиться в первую очередь о своей армии и своем народе».

Это было в первый раз, что кто-то из членов

Центрального комитета открыто высказал несогласие с Москвой. Тогда впервые и меня осенила мысль, независимо от слов Тито, хотя и не без связи с ними, что не может быть речи о полном согласии с Москвой, если мы хотим выжить в смертельной схватке враждующих миров. Больше Москве мы об этом ничего не сообщали, а я под вымышленной фамилией еще с двумя товарищами отправился на переговоры с немецким командованием.

29 ноября 1943 года в Яйце на Втором совещании Антифашистского веча были вынесены решения, фактически означавшие узаконение нового социалистического и государственного порядка в Югославии. Одновременно был сформирован Национальный комитет как временное правительство Югославии. Во время подготовки этого решения Центральный комитет коммунистической партии на своем заседании постановил, что Москве ни о чем сообщать не следует, пока все не будет закончено. Из предыдущего опыта с Москвой и из направления ее пропаганды мы знали, что она не будет в состоянии понять этого. И действительно, реакция Москвы на решения в Яйце была до такой степени отрицательной, что радиостанция «Свободная Югославия», обслуживавшая из Советского Союза повстанческое движение в Югославии, часть этих решений даже не передала в эфир. Советское правительство, следовательно, не поняло самого важного шага югославской революции — шага, который превращал революцию в новый строй и выводил ее на международную арену. Только после того, как стало очевидным, что Запад на решения в Яйце реагирует сочувственно, Москва изменила свою позицию и примирилась с действительностью.

Но несмотря на горечь этого опыта, все значение

которого югославские коммунисты смогли до конца понять только после разрыва с Москвой в 1948 году, несмотря на различные формы существования, мы считали себя не только идейно связанными с Москвой, но и ее самыми верными последователями. Хотя действительность, революционная и иная, все последовательнее и непримиримее отделяла югославских коммунистов от Москвы, они именно в своих революционных успехах видели подтверждение связи с Москвой и с идеологическими схемами, ею предписанными. Москва была для них не только политическим и духовным центром, но и осуществлением поистине абстрактного идеала — «бесклассового общества», чего-то, что не только делало легкими и приемлемыми их жертвы и страдания, но и оправдывало в их глазах собственное существование.

Это была партия не только идеологически сплоченная, как советская, но верность советскому руководству была одним из ее главных созидательных элементов и активности. Сталин был не только неоспоримым и гениальным вождем, но и воплощением самой идеи и мечты о новом обществе. Это обожествление личности Сталина и безусловное принятие всего, происходившего в Советском Союзе, приобретало иррациональные формы и масштабы. Любое действие советского правительства, — скажем, нападение на Финляндию, все отрицательное в Советском Союзе, например, судебные расправы и чистки, — получало оправдание, и, что может выглядеть еще более странным, коммунистам удавалось убеждать самих себя в целесообразности и справедливости всех этих мероприятий, или, что еще проще — вытеснять из своего сознания и забывать неприятные факты.

Между нами, коммунистами, были и люди с разви-

тым эстетическим вкусом, с глубоким знанием литературы и философии, но, несмотря на это, мы все же были воодушевлены не только взглядами Сталина, но и «совершенством» формы их изложения. Я и сам в дискуссиях часто указывал на кристальность стиля, на несокрушимость логики и гармонию изложения сталинских мыслей, как на выражение глубочайшей мудрости, хотя для меня и тогда не составило бы большого труда определить — если бы дело касалось другого автора — что на самом деле это бесцветная ограниченность и неуместная смесь вульгарной журналистики с Библией. Иногда это принимало комические формы: всерьез считали, что война окончится в 1942 году, потому что так сказал Сталин. Когда же этого не произошло, пророчество было забыто, причем прорицатель ничего не потерял от своего сверхчеловеческого могущества. С югославскими коммунистами происходило то же, что происходило за всю долгую человеческую историю с теми, кто свою судьбу и судьбу мира подчинял одной единственной идее. Сами того не замечая, они создавали в своем воображении Советский Союз и Сталина такими, как это было необходимо для их борьбы и ее оправдания.

Югославская военная миссия направлялась, следовательно, в Москву с идеальными представлениями о советской власти и Советском Союзе, с одной стороны, и с собственными насущными нуждами, с другой. Внешне она не отличалась от миссии, направленной к британцам, но по своему составу и взглядам одновременно представляла и неофициальную связь с политическим руководством своих единомышленников. Проще: миссия должна была иметь одновременно и военный и партийный характер.

2.

Поэтому совсем не случайно Тито, кроме генерала Велимира Терзича назначил в миссию и меня, как крупного партийного работника — уже в течение нескольких лет я входил в высшее партийное руководство. И другие члены миссии были отобраны таким же способом — партийные или военные руководители, а среди них и один специалист по финансам. В миссию входил и атомный физик Павле Савич — фактически для того, чтобы продолжать в Москве свою научную работу. Все мы, конечно, были в формах — у меня был чин генерала. Думаю, что выбор пал на меня еще по той причине, что я хорошо знал русский язык — я выучил его в тюрьме — и потому, что я никогда раньше не ездил в Советский Союз и не был отягощен ни фракционным, ни уклонистским прошлым. Другие члены миссии тоже никогда не бывали в Советском Союзе и русского языка никто из них хорошо не знал.

Было начало марта 1944 года.

Несколько дней ушло на созыв членов миссии и на их подготовку. Наше обмундирование было старым и не единообразным и, поскольку не было подходящего сукна в достаточном количестве, новые мундиры нам переделали из трофейных итальянских. Надо было еще выправить документы для проезда через британские и американские зоны. На скорую руку их отпечатали — это были первые паспорта нового югославского государства с личной подписью Тито.

Почти само собою возникло предложение привезти Сталину подарки. Но какие и откуда? В непосредственных окрестностях — верховный штаб находился тогда в Дрваре — села были почти все сожжены и

ограблены, местечки опустошены. Но решение нашлось: отвезти Сталину одну из винтовок, сделанных на партизанской фабрике в Ужице в 1941 году — винтовку отыскали с превеликим трудом. А из сел начали поступать подарки — торбы, шитые ручники, народная одежда и обувь. Мы отобрали лучшее — к лучшему относились опанки*) из сыромятной кожи, а и остальное было тоже сиротским и убогим. Но именно потому, что вещи были такими — выражением народной простосердечности — мы решили, что их надо взять с собой.

У миссии было задание стремиться получить всестороннюю советскую помощь для Народно-освободительной армии Югославии. Одновременно Тито поручил нам, через советское правительство или по другим каналам, добиваться помощи УНРРА для освобожденных территорий Югославии. От советского правительства надо было запросить заем в двести тысяч долларов на расходы наших миссий на Западе. Тито подчеркнул и обязал нас заявить, что эту сумму, как и расходы на помощь медикаментами и оружием, мы возвратим после освобождения страны.

Миссия должна была отвезти с собою архив Верховного штаба и Центрального комитета Коммунистической партии.

И, что самое важное, у советского правительства надо было прозондировать возможности признания Национального комитета как временного законного правительства и повлиять в этом направлении через Москву на западных союзников.

Связь с Верховным штабом миссия должна была поддерживать через советскую миссию в Югославии.

---

*) Поршни, кожаные лапти. — Прим. пер.

Можно было использовать и старую связь через Коминтерн.

Но кроме этих заданий в связи с миссией, Тито при прощании поручил мне разведать у Димитрова или Сталина, если мне удастся к нему попасть, нет ли каких-либо упреков по адресу нашей партии.

Это распоряжение Тито было чисто формальным подчеркиванием дисциплинированности по отношению к Москве. Он сам, конечно, был глубочайше уверен, что Коммунистическая партия Югославии и только она одна блестяще выдержала испытания. Был разговор и о югославской политической эмиграции. Тито считал, что не следует впутываться во взаимные обвинения, в особенности же если это связано с советскими партийными органами и руководителями. Одновременно Тито подчеркнул, что следует опасаться секретарш, так как они бывают разные, что я воспринял не только как заботу об уже традиционной партизанской морали, но и как предупреждение всего, что могло бы угрожать авторитету и особенностям югославской партии и югославского коммуниста.

Все мое существо трепетало в радостном предчувствии скорой, как можно более скорой встречи с Советским Союзом, первой такой страной в истории человечества. Моя вера была тверже гранита, это была неомраченная вера мечтателей, борцов и мучеников, — во имя нее и я томился и подвергался истязаниям в темницах, ненавидел и проливал человеческую кровь, не жалея крови собственных братьев.

Но была и печаль — я оставлял своих товарищей в разгаре боев, а свою землю в смертельной схватке, всю еще полем битвы и пожарищем.

Я попрощался с советской военной миссией сер-

печнее, чем обычно после встреч с нею, обнял друзей, тоже опечаленных, и направился к полевому аэродрому возле Босанского Петровца. Здесь мы провели весь день, осматривали аэродром, разговаривая с обслуживающим его персоналом, имевшим уже вид и навыки приличной спецслужбы, и с крестьянами, освоившимися уже с новой властью, поверившими в неизбежность ее победы.

Здесь в последнее время по ночам регулярно приземлялись британские самолеты, но не часто — самое большее один-два в ночь, забирали раненых и редких пассажиров, доставляли грузы, чаще всего санитарные. Один из самолетов выгрузил недавно джип — подарок британского командования Тито. Месяц тому назад, в полдень, самолетом на лыжной установке на этот аэродром спустилась советская военная миссия; это был — принимая во внимание рельеф местности и другие условия — подвиг, но одновременно и необычный парад из-за большого количества британских истребителей, сопровождавших самолет миссии.

Спуск и взлет своего самолета я тоже воспринял, как подвиг — чтобы спуститься в узкую, неровную долину или вылететь из нее, самолет должен был проходить непосредственно над острыми гребнями скал.

Но какой печальной, потонувшей во мраке была моя земля! Горы, бледные от снега и изрытые черными ущельями, долины, погруженные во тьму без капли света до самого моря и дальше. Внизу война, ужасная, самая ужасная изо всех, даже для этой земли, привыкшей к походам, к дыханию битв и восстаний. Народ схватился с завоевателем, а еще более жестоко режутся между собой родные братья. Когда же загорятся огни по селам и местечкам моей

земли? Перейдет ли она из ненависти и смерти к радости и покою?

Сначала мы остановились в Бари в Италии, где была крупная база югославских партизан — больницы, склады продовольствия и вещевые. Оттуда мы летели на Тунис — окольным путем из-за немецких баз на Крите и в Греции, задержались ненадолго на Мальте как гости британского коменданта и снизились на привал возле Тобрука, когда дымный пожар из рыжей каменной пустыни облизывал все небо.

На другой день мы прибыли в Каир. Британцы нас поместили незаметно в отеле и предоставили в наше распоряжение автомобиль. Лавочники и прислуга, при виде пятиконечных звезд, принимали нас за русских. Но приятно было слышать — после того, как мы поспешно объясняли, что мы югославы, или произносили имя Тито — что они знают о нашей борьбе. В одной лавке нас встретили ругательствами на нашем родном языке, которые продавщица, ничего не подозревая, выучила от эмигрантов-офицеров. Была там и группа этих офицеров, которые высказались за Тито, охваченные желанием бороться и тоской по своей измученной стране.

Узнав, что в Каире начальник УНРРА Леман, я попросил советского посла отвезти меня к нему — изложить наши пожелания. Американец принял нас сразу, но холодно, сказал, что наши требования рассмотрят на предстоящем совещании УНРРА и что УНРРА в принципе сотрудничает только с легальными правительствами.

Как бы для того, чтобы мои примитивные и вызубренные понятия о западном капитализме — этом непримиримом враге любого прогресса и всех слабых и угнетенных — подтвердились уже при первой

встрече с его представителями, господин Леман принял нас лежа. У него была в гипсе нога и его страдания от боли и от жары я принял за недовольство нашим посещением. Вдобавок ко всему, его переводчик на русский язык, похожий на волосатого громилу, был для меня прообразом бандита из ковбойских фильмов.

В действительности же мне нечего было жаловаться на посещение Лемана — наш вопрос был поднят и нам обещали, что его рассмотрят.

Три дня в Каире мы, конечно, использовали для осмотра исторических достопримечательностей, а также посетили первого начальника британской миссии в Югославии майора Дикина — он пригласил нас на обед в узком кругу.

Из Каира мы прилетели на британскую базу Хаббания возле Дамаска. Представители британского командования не захотели везти нас в Дамаск, сказав, что там не совсем безопасно. Это мы восприняли как скрытие колониалистского террора, который, очевидно, проводится там не менее жестоко, чем немецкая оккупация в нашей стране.

Британцы нас пригласили на спортивные состязания своих солдат. Мы получили места рядом с комендантом. Перетянутые поясами, застегнутые до горла, мы были смешны самим себе, а наверное и вежливым, державшим себя совсем непринужденно, англичанам.

К нам приставили майора, веселого добродушного дядюшку, который все извинялся, что плохо говорит по-русски. Он забыл даже то, что выучил как интервент в Архангельске. Он был в восторге от русских — их делегации тоже остановились в Хаббании. Но восторгался он не их социальной системой, а их простотой и решительностью, с которой

они осушали — «За Сталина, за Черчилля!» — громадные стаканы водки или виски.

Майор спокойно, но не без гордости, рассказывал о борьбе против местных повстанцев, подстрекаемых немецкими агентами — ангары были действительно издырявлены пулями.

В своем доктринерстве мы считали, что невозможно, а главное неразумно жертвовать собою «за империализм» — так мы называли борьбу Запада. Но внутренне мы восхищались геройству и стойкости британцев: малочисленные, без надежды на помощь они боролись и победили в отдаленных и знойных азиатских пустынях. Если я и не сумел тогда сделать более глубоких выводов, то все же это повлияло на мою позднейшую веру в то, что нет одного единственного идеала и что на земле много — бесконечное множество — людских координатных систем.

Мы относились к британцам с недоверием и чуждались их. Но особенно мы опасались и примитивно представляли себе их разведовательную службу — Интеллидженс сервис. Это была смесь начетнических упрощений, влияния сенсационной литературы и растерянности новичков в большом мире.

Конечно, мы так не опасались бы, не будь с нами этих мешков с архивом Верховного штаба. А в них были и телеграммы между нами и Коминтерном. Подозрительным казалось и то, что британские военные власти смотрели на эти мешки так, как будто там были сапоги или консервы. Я их, конечно, всю дорогу держал возле себя, а, чтобы не оставаться одному на ночь, в моей комнате спал Марко «Пипер», член партии с довоенных времен, черногорец, человек простой, преданный и храбрый.

И вот однажды ночью в Хаббании кто-то тихо отворил дверь моей комнаты. Я почувствовал это, хотя

дверь не скрипнула, увидел фигуру туземца, освещенную луной и, запутавшись в пологе от комаров, крикнул, выхватив из-под подушки пистолет. Марко вскочил — он ложился одетым, — но незнакомец как сквозь землю провалился.

Туземец, наверное, заблудился или хотел что-нибудь украсть. Но мы, конечно, увидели в этом руку британского шпионажа и усилили свою и без того неусыпную бдительность. Мы были счастливы, что британцы на следующий день предоставили нам самолет в Тегеран.

Тегеран, там, где мы ехали по нему — от советской комендатуры до советского посольства — был уже частью Советского Союза. Советские офицеры приняли нас с искренней сердечностью, в которой чувствовалось и традиционное русское гостеприимство и солидарность борцов за один идеал в двух частях света. В советском посольстве нам показали круглый стол, за которым шла Тегеранская конференция и комнатку на первом этаже, где останавливался Рузвельт — там сейчас никто не жил и все сохранялось как было при нем.

Наконец советский самолет понес нас к Советскому Союзу — воплощению нашей мечты, нашей надежде. И чем глубже мы тонули в его серовато-зеленых просторах, тем сильнее охватывало меня новое, до той поры лишь смутно угадывавшееся чувство — что я возвращаюсь на древнюю, незнакомую, но свою родину.

Мне всегда были чужды любые панславистские чувства. В тогдашних московских панславистских идеях я видел только возможность мобилизовать против германского нашествия также и консервативные силы. Но это ощущение было чем-то другим, более глубоким и не вмещалось в рамки моей при-

надлежности к коммунизму. Я смутно припоминал, что уже три столетия югославские мечтатели и борцы, государственные мужи и властители — чаще всего владыки измученной Черногории — совершали паломничества в Россию, надеясь найти там понимание и спасение. Не иду ли и я их путем? И не это ли родина наших предков, выброшенных неизвестной силой на балканский сквозняк? Россия никогда не понимала южных славян и их стремлений — потому что она была царской и помещичьей, думал я. Но я твердо верил, что все социальные и иные причины этих и вообще всех конфликтов Москвы с другими народами наконец устранены. Я воспринимал это тогда как осуществление общечеловеческого братства и как свое воссоединение с праисторической славянской семьей.

Но ведь это не только родина моих прадедов, а и борцов, гибнущих за подлинное всеобщее братство и бесповоротное господство человека над вещами.

Я сливался с разливами Волги и с бескрайними серыми равнинами, как с собственным прабытием — с какими-то, мне до той поры самому неизвестными тайниками души. Мне приходила мысль поцеловать русскую советскую землю, как только я ступлю на нее — что я непременно и сделал бы, если бы это не выглядело религиозно или еще хуже — театрально.

В Баку нас встретил комендант — молчаливый великан-генерал, огрубевший от казарм, войны и службы — олицетворение великой страны в беспощадной борьбе против опустошительного нашествия. Грубовато-сердечный, он все удивлялся нашей почти стыдливой сдержанности:

«Что за народ — не пьют, не едят! А мы, русские,

хорошо едим, еще лучше пьем, а лучше всего деремся!»

Москва была темной, сумрачной и удивила нас множеством низких зданий.

Но какое это имело значение? Что могло сравниться с устроенной нам встречей — почестями по рангу и сердечностью, намеренно сдержанной в связи с коммунистическим характером нашей борьбы? Что могло сравниться с гигантской войной, которую мы считали последним великим искушением человечества, которая была нашей жизнью, нашей судьбой? Не бледно ли и незначительно все остальное в сравнении с реальностью, ставшей, наконец, здесь, в советской стране, нашей и общечеловеческой — превратившейся из страшного сна в спокойную и радостную явь?

3

Нас поместили в Центральном доме Красной армии — ЦДКА, где останавливались советские офицеры. Питание и все остальные условия были прекрасными. Нам дали в пользование автомашину с шофером Пановым, человеком средних лет, с самостоятельным мышлением, хотя и не без чудачеств. Через офицера связи, капитана Козовского, молодого и красивого парня, гордого своим казацким происхождением — тем паче, что казаки в этой войне «смыли» свое контрреволюционное прошлое — мы могли в любое время получить места в театре, кино и где угодно.

Но более серьезного контакта с советскими руководителями завязать нам никак не удавалось, хотя я сразу просил приема у В. М. Молотова, в то время наркома иностранных дел, а по возможности и у

И. В. Сталина, председателя правительства и верховного главнокомандующего вооруженными силами. Тщетны были и мои попытки сообщить о наших пожеланиях и нуждах обходными путями.

Меньше всего могло мне помочь югославское посольство, формально все еще королевское, хотя посол Симич и немногочисленные служащие примкнули к маршалу Тито. Хотя им и оказывали внешние знаки уважения, но они были еще беспомощнее нас.

Через югославскую партийную эмиграцию тоже ничего нельзя было сделать. Она очень поредела в результате чисток; самой выдающейся личностью был там Велько Влахович. Мы были одного возраста, оба черногорцы и оба участники революционного студенческого движения против диктатуры короля Александра. Он был инвалидом испанской гражданской войны, а я прибыл с войны еще более страшной. Он обладал высокими моральными качествами, широким образованием, был умен, но слишком дисциплинирован и не мыслил самостоятельно. Руководил он радиостанцией «Свободная Югославия» и сотрудничество с ним было очень полезным. Но связи его не поднимались выше Георгия Димитрова, который — поскольку Коминтерн был распущен — руководил вместе с Мануильским отделом советского Центрального комитета по связям с иностранными коммунистическими партиями.

Нас хорошо кормили, любезно принимали, но по вопросам, требующим обсуждения и решения мы не могли сдвинуться с мертвой точки. Хочу еще подчеркнуть — во всем остальном к нам относились необычайно любезно и предупредительно. Но только после того, как меня и генерала Терзича через месяц после нашего приезда приняли Сталин и Молотов и об этом было сообщено в печати — перед нами,

как по мановению волшебной палочки открылись все двери громоздкой советской администрации и высших кругов советского общества.

Всеславянский комитет, созданный во время войны, первым начал устраивать для нас банкеты и приемы. Но любому, а не только коммунисту бросилась бы в глаза его искусственность и незначительность. Он был вывеской и служил лишь пропаганде, но даже в этом качестве его роль была ограниченной. Цели его тоже не были вполне ясны: в комитет входили главным образом коммунисты из славянских стран — эмигранты в Москве; идеи всеславянской солидарности были им совершенно чужды. Все без слов понимали, что должны оживить нечто давно отошедшее в прошлое и хотя бы парализовать антисоветские панславистские течения, если уж не удается сгруппировать славян вокруг России как коммунистической страны.

Руководили комитетом мелкие люди. Председатель генерал Гундоров был преждевременно состарившимся, узким во взглядах человеком, с ним невозможно было серьезно говорить даже по вопросам показной славянской солидарности. Секретарь комитета Мочалов обладал бóльшим авторитетом, так как был близок к органам госбезопасности — при склонности к бахвальству ему это плохо удавалось скрывать. И Гундоров и Мочалов были офицерами Красной армии, обнаружившими свою непригодность на фронте — у обоих чувствовалась скрытая подавленность людей, пониженных в должности и назначенных на чуждую им работу. Только секретарь Назарова, щербатая и чересчур любезная, проявляла что-то напоминавшее любовь к славянам и сочувствие к их страданиям, несмотря на то, что и ее деятельность — как выяснилось уже потом в Югосла-

вии — направлялась органами советской разведки.

Во Всеславянском комитете много ели, больше пили, а больше всего — говорили. Длинные и пустые застольные речи были по содержанию примерно такими же, как в царские времена, а по форме, конечно, менее красивыми. По правде сказать, меня уже тогда удивляло отсутствие каких бы то ни было свежих всеславянских идей. Соответствующим было и здание комитета — подражание барокко или чему-то в этом роде посреди современного города.

Комитет был детищем временной, мелкой и небескорыстной политики.

Чтобы читатель меня правильно понял, добавлю: хотя многое мне было ясно уже тогда, я нисколько не удивлялся или ужасался. То, что комитет был послушным орудием советского правительства для влияния на отсталые слои славян вне Советского Союза, что его работники были связаны с тайными и открытыми представителями власти — все это меня вовсе не смущало. Меня удивляла лишь его слабость и несерьезность, а в особенности то, что он не смог открыть мне путь к советскому правительству и помочь удовлетворению югославских нужд. Потому что я, как каждый коммунист, хорошо усвоил мысль, что не может быть противоречий между Советским Союзом и любым другим народом — не говоря уже о такой революционной и марксистской партии, как югославская. И хотя я считал Всеславянский комитет устаревшим и неподходящим орудием для достижения коммунистических целей, я принимал и его, главным образом потому, что на этом настаивало советское руководство. Что же касается его связей с органами госбезопасности, то ведь и сам я по традиции видел в них чуть ли не

божественных стражей революции — «меч в руках партии».

Следует пояснить и характер моего стремления быть принятым на советских верхах. Хотя я и спешил, но не проявлял назойливости и был далек от мысли упрекать в чем-либо советскую власть. Я привык видеть в ней руководящую силу коммунизма как целого — нечто высшее, чем даже руководство моей партии и моей революции. От Тито и других я уже слыхал, что долгое ожидание — для иностранных коммунистов, конечно, — что-то вроде стиля Москвы. Смущало и приводило меня в нетерпение только непонимание неотложности дел именно моей, югославской, революции.

Потому что хотя никто, даже сами югославские коммунисты не произносили этого слова — давно было ясно для всех, что у нас происходит именно революция. На Западе об этом повсюду уже писали. В Москве же как раз это никак не хотели замечать — даже те, в чьи так сказать прямые обязанности это входило. Все упрямо говорили только лишь о борьбе против немецких захватчиков, еще упрямей подчеркивали исключительно патриотический характер этой борьбы и назойливо твердили о ведущей роли Советского Союза. Я был далек от мысли оспаривать решающую роль советской компартии в мировом коммунистическом движении или роль Красной армии в войне против Гитлера. Но и на моей земле и в ее условиях — на глазах у всех — югославские коммунисты вели войну независимо от временных успехов или неудач Красной армии, причем войну, одновременно изменявшую политическую и социальную структуру страны. Югославская революция, как во вне, так и в самой стране перегнала внешнеполитические потребности советского

правительства и его умение приспосабливаться — так я объяснял себе препятствия и недоразумения, с которыми столкнулся.

Наиболее странным казалось, что те, кто не мог этого не понимать — покорно молчали и делали вид, что не понимают. Я еще не усвоил, что в Москве не следует спешить высказываться — в особенности определять политические установки — пока не скажет свое слово Сталин или хотя бы Молотов. Это было законом даже для таких высокопоставленных лиц, как бывшие секретари Коминтерна — Мануильский и Димитров.

Тито, Кардель и другие коммунисты, бывшие в Москве, рассказывали, что Мануильский к югославам особо расположен. Во время чисток 1936-1937 годов — когда пострадала почти вся югославская эмиграция — это могло для него обернуться во зло, но сейчас, когда югославы выступили против нацистов, его симпатии можно было расшифровать как дальновидность. Во всяком случае, в его восхищении борьбой югославов чувствовалась известная доля личной гордости, хотя лично он не был знаком ни с кем из новых югославских руководителей, кроме, может быть, Тито, да и с тем поверхностно.

Встретились мы с ним как-то вечером. На встрече присутствовал и Г. Ф. Александров, бывший тогда известным советским философом и — что еще важнее — заведующим отделом агитации и пропаганды при Центральном комитете.

Александров не произвел на меня никакого определенного впечатления — неопределенность, почти безликость и была главной отличительной его чертой. Он был невысок, коренаст, лыс, а его бледность и полнота показывали, что он не выходит из

рабочего кабинета. Кроме общих замечаний и любезных улыбок — ни слова о характере и перспективах восстания югославских коммунистов, хотя я, как бы невзначай, указывал именно на эти проблемы. Центральный комитет, очевидно, еще не определил своей точки зрения и советская пропаганда продолжала говорить о борьбе против оккупантов, обходя молчанием внутренние югословские и международные отношения.

Мануильский тоже не занял определенной позиции. Но он проявил живой, возбужденный интерес. Я уже знал про его ораторский талант — о нем можно было судить по его статьям, он проявлялся в образности и законченности его речи. Это был маленький и уже ссутулившийся человечек, смуглый, с подстриженными усами. Голос у него был шепелявый, почти нежный и, как ни странно, совсем не энергичный. Таким он был во всем — предупредительный, вежливый до слащавости и с заметным налетом светскости.

Говоря о развитии восстания в Югославии, я сказал, что в ней по-новому формируется власть, по существу такая же, как советская. В особенности я подчеркивал новую революционную роль крестьянства: восстание в Югославии для меня почти сводилось к слиянию крестьянского бунта с коммунистическим авангардом. И хотя Мануильский и Александров против этого не возражали, но одобрения они тоже ничем не выказали.

Я считал нормальным, что Сталин во всем играет главную роль, но все же ожидал от Мануильского большей самостоятельности во взглядах и инициативы в действиях. На меня произвела впечатление его живость, тронуло восхищение борьбой в Югославии, но встреча с ним мне показала, что Мануильский не

принимает участия в определении политики Москвы — в том числе и по отношению к Югославии.

О Сталине он говорил, пытаясь облечь непомерное восхваление в «научные» и «марксистские» формулировки. Это звучало примерно так:

«Знаете, просто непостижимо, что одна личность могла сыграть такую решающую роль в судьбоносные моменты войны. И что в одной личности соединилось столько талантов — государственного деятеля, мыслителя и воина!»

Мои мысли о роли Мануильского впоследствии полностью оправдались. Его назначили министром иностранных дел Украины — по рождению он был украинский еврей — что означало окончательное удаление ото всех подлинно политических дел. Впрочем, и как секретарь Коминтерна он был послушным орудием Сталина, так как его прошлое не было вполне большевистским — он был в группе так называемых «межрайоновцев», во главе которой стоял Троцкий. Группа присоединилась к большевикам перед самой революцией 1917 года.

Я видел Мануильского в 1949 году в Объединенных нациях — он выступал там от имени Украины против «империалистов» и «фашистской клики Тито». От его красноречия осталась развязность, а от проницательной мысли — фразы. Это был уже потерянный сенильный старичок — вскоре он скатился со ступенек советской иерархической лестницы и след его затерялся.

С Димитровым этого не произошло.

Я встречался с ним тогда трижды — два раза в советской правительственной больнице, а в третий — на его подмосковной даче.

Каждый раз он производил впечатление больного человека. Дыхание его было астматическим, кожа

местами нездорово красная, местами бледная, местами — возле ушей — сухая, как при лишае. Волосы были до такой степени редкими, что сквозь них просвечивал увядший желтый череп.

Но мысль его была живой и свежей, что совсем не вязалось с медленными и усталыми движениями. Этот слишком рано состарившийся, физически почти сломленный человек, все еще излучал мощную умственную энергию и жар. Об этом свидетельствовали и черты его лица, в особенности напряженный взгляд выпуклых синеватых глаз, и резко выдающиеся нос и подбородок. Хотя он и не высказывал всего, что думал, но говорил открыто и твердо. Он, конечно, понимал суть событий в Югославии, хотя тоже считал, что преждевременно говорить о подлинном коммунистическом характере происходящего — принимая во внимание отношения СССР и Запада. Я так же думал, что в пропаганде надо прежде всего говорить о борьбе против оккупантов и нельзя подчеркивать ее коммунистическую суть. Но я хотел добиться, чтобы советские верхи, да и сам Димитров, поняли, что бессмысленно — по крайней мере в Югославии — настаивать на коалициях между коммунистическими и буржуазными партиями, поскольку и во время войны и во время гражданской войны оказалось, что коммунистическая партия — единственная реальная политическая сила в стране. Практическим следствием такой точки зрения были бы непризнание югославского королевского правительства в эмиграции — и вообще монархии.

На первой встрече я рассказал Димитрову о событиях и положении дел в Югославии.

Он не ожидал, чистосердечно признался Димитров, что Югославская партия окажется самой боевой и оперативной — он возлагал больше надежд на фран-

цузскую партию. Он вспомнил, как Тито, уезжая в конце 1939 года из Москвы, давал обещание, что югославские коммунисты смоют пятно, оставленное разными фракционерами и докажут, что они достойны своего имени. Он, Димитров, посоветовал Тито не зарекаться, а действовать умно и решительно. Он рассказывал:

— Знаете, когда возник вопрос, кого назначить секретарем югославской партии, возникли разногласия, но я был за Вальтера*) — он рабочий и казался мне твердым и серьезным. Мне приятно, что я не ошибся.

Димитров, как бы извиняясь, упомянул, что советское правительство не смогло в самое тяжелое время помочь югославским партизанам. Он заинтересовал этим делом лично Сталина. Это была правда — советские летчики уже в 1941-1942 годах тщетно пытались пробиться к югославским партизанским базам, а некоторые югославские эмигранты, которых они перебросили, замерзли.

Димитров вспомнил и наши переговоры с немцами по поводу обмена ранеными:

— Мы тогда за вас испугались, но к счастью все хорошо закончилось.

Я промолчал и не сказал бы ничего больше того, что сказал он, если бы он даже настаивал на подробностях. Но опасности, что он скажет или спросит что-нибудь неподходящее, не было — в политике быстро забывается все, что хорошо кончается.

Димитров, впрочем, ни на чем не настаивал — Коминтерн был на самом деле распущен и работа

---

*) Псевдоним Йосипа Броза в Коминтерне и вообще до момента, когда он принял псевдоним Тито.

Димитрова сводилась к сбору информаций о коммунистических партиях и в подаче, в случае надобности, советов советскому правительству и партии.

Он рассказал мне, как впервые возникла идея о роспуске Коминтерна: это было во время присоединения балтийских стран к Советскому Союзу. Уже тогда было ясно, что главной силой, распространяющей коммунизм был Советский Союз и поэтому весь потенциал следует сгруппировать непосредственно вокруг него. Но роспуск был отложен из-за международного положения — чтобы не подумали, что это сделано под влиянием немцев, отношения с которыми не были тогда плохими.

Димитров обладал на редкость большим авторитетом у Сталина, и — что вероятно менее важно — был непререкаемым вождем болгарского коммунистического движения.

Две последующие встречи с Димитровым это подтвердили. На первой я сообщил членам болгарского Центрального комитета о положении в Югославии, а на второй был разговор о возможностях болгарско-югославского сотрудничества и о борьбе в Болгарии.

На встрече с болгарским Центральным комитетом кроме Димитрова присутствовали Коларов, Червенков и другие.

С Червенковым я встретился уже во время моего первого посещения, хотя он в разговоре не участвовал и я принял его за личного секретаря Димитрова. Он и на второй встрече оставался в тени — молчаливым и сдержанным, хотя впоследствии оставил на меня совсем иное впечатление. От Влаховича и других я уже знал, что Червенков — муж сестры Димитрова, что во время чисток его должны были арестовать. В политической школе, где он преподавал, было уже сообщено о его «разоблачении», — но

ему удалось спрятаться у Димитрова. Димитров предпринял шаги в НКВД — и все обошлось.

Во время чисток особенно пострадали коммунисты-эмигранты, члены нелегальных партий, за которых некому было заступиться. Болгарским эмигрантам повезло: Димитров был секретарем Коминтерна, личность с авторитетом — он спас многих из них. За югославов заступиться было некому, а сами они копали один другому могилы, борясь за власть и состязаясь в изыскании доказательств преданности Сталину и ленинизму.

На Коларове, которому было за семьдесят, уже виднелись следы старости, а еще больше — следы многолетней политической пассивности. Он выглядел как реликвия из времен тесняков*) и повстанческих дней болгарской партии. У него была большая, скорее турецкая, чем славянская голова, резкие черты лица, крупный нос, чувственные губы. Мысли его были направлены в прошлое и на второстепенные подробности, причем не лишены озлобления.

В своем изложении я не мог ограничиться одним лишь анализом, а рисовал также страшную картину пожарищ и резни: из десяти тысяч довоенных членов партии хорошо если оставалось в живых две тысячи, а потери бойцов и местного населения я

---

*) Тесняки — левое течение болгарской социалистической партии, из которого позднее развилась коммунистическая партия. В 1923 году болгарские коммунисты с оружием в руках сопротивлялись военной клике генерала Цанкова, которая совершила политический переворот и убила крестьянского вождя Александра Стамболийского.

тогда оценил в миллион двести тысяч. После моего рассказа Коларов счел удобным задать один единственный вопрос:

— А как по вашему мнению, язык, на котором говорят в Македонии, более похож на болгарский или на себрский?

У руководства югославской компартии уже были серьезные трения с Центральным комитетом в Болгарии, который считал, что поскольку Болгария оккупировала Македонию, то тем самым под его руководство переходит и организация тамошней югославской коммунистической партии. Спор в конце концов прекратил Коминтерн, одобрив югославскую точку зрения, — но уже после нападения Германии на СССР. Однако трения вокруг Македонии и по вопросам восстания продолжались и все усиливались по мере приближения неизбежного поражения Германии, а вместе с ней и Болгарии. Влахович в Москве тоже замечал, что болгарские коммунисты претендуют на югославскую Македонию. Правда, Димитров здесь несколько отличался от других: на первом плане у него был вопрос болгарско-югославского сближения. Но я думаю, что и он не считал македонцев особой национальностью, хотя его мать была македонка и в его отношениях к македонцам ощущалась сентиментальность.

Может быть в моих словах было слишком много горечи, когда я ответил Коларову:

— Я не знаю, ближе ли македонский язык к болгарскому или к сербскому, но македонцы не болгары, а Македония — не болгарская.

Димитрову это было неприятно, — он покраснел, махнул рукой:

— Все это не важно! — и перешел к другому вопросу.

Я забыл, кто присутствовал при третьей встрече с Димитровым, но Червенков, по всей вероятности, на ней был. Встреча состоялась накануне моего возвращения в Югославию в начале июня 1944 года. На ней говорили о сотрудничестве югославско-болгарских коммунистов. Но полезного разговора на эту тему почти и быть не могло — у болгар тогда практически не было партизанских отрядов.

Я настаивал на необходимости создать в Болгарии партизанские отряды, начать вооруженные действия, называл иллюзиями ожидание переворота в болгарской царской армии. Я исходил из югославского опыта: из старой королевской армии в партизаны пошли лишь отдельные офицеры и коммунистическая партия должна была создавать армию, начиная с небольших отрядов и преодолевая серьезные препятствия. Было очевидно, что и Димитров разделяет упомянутые иллюзии, хотя и он считал, что следовало бы активнее приступить к формированию партизанских отрядов.

Но было видно, что он знал что-то, чего не знал я. Когда я указал, что даже в Югославии, где оккупация разрушила старый государственный аппарат, потребовалось много времени, чтобы добить его остатки, он заметил:

— Через три-четыре месяца в Болгарии и так будет переворот — Красная армия вскоре выйдет к ее границам!

Хотя Болгария не была в состоянии войны с Советским Союзом, я понимал, что Димитров ориентировался на Красную армию, как на решающий фактор. Он, правда, не сказал определенно, что Красная

армия войдет в Болгарию, но было очевидно, что он тогда уже это знал — и дал мне это понять.

При таких взглядах и расчетах Димитрова, мой упор на партизанские действия потерял практически значение и смысл. Разговор свелся к обмену мнениями и к братским приветствиям Тито и югославским борцам.

Следует отметить отношение Димитрова к Сталину. Он тоже говорил о нем с уважением и восхищением, но без явной лести и низкопоклонства. Он относился к Сталину как дисциплинированный революционер, повинующийся вождю, но думающий самостоятельно. Особенно подчеркивал он роль Сталина во время войны.

Он рассказывал:

— Когда немцы были под Москвой, настала общая неуверенность и разброд. Советское правительство перебралось в Куйбышев. Но Сталин остался в Москве. Я был у него тогда в Кремле, а из Кремля выносили архивы. Я предложил Сталину, чтобы Коминтерн выпустил обращение к немецким солдатам. Он согласился, хотя и считал, что пользы от этого не будет. Вскоре мне пришлось уехать из Москвы. Сталин же остался и решил ее оборонять. В эти трагические дни он в годовщину Октябрьской революции принимал парад на Красной площади — дивизии мимо него уходили на фронт. Трудно выразить то огромное моральное воздействие на советских людей, когда они узнали, что Сталин в Москве и услышали из нее его слова — это возвратило веру, вселило уверенность в самих себя, и стоило больше хорошей армии.

Во время этой встречи я познакомился с супругой Димитрова. Она была судетской немкой — об этом не было принято говорить из-за всеобщей ненависти

к немцам, которой средний русский стихийно поддавался и воспринимал легче, чем антифашистскую пропаганду.

Дача Димитрова была обставлена роскошно и со вкусом. В ней было все — кроме радости. Единственный сын Димитрова умер — портрет бледного мальчика висел в кабинете отца. Как борец Димитров мог еще переносить поражения и радоваться победам, но как человек это уже был старик, которого покидали силы и который уже не мог вырваться из окружавшей его атмосферы молчаливого сочувствия.

4

Еще за несколько месяцев до нашего приезда Москва сообщила, что в Советском Союзе сформирована югославская бригада. Незадолго до этого были созданы польские, а затем чехословацкие части. Мы в Югославии никак не могли сообразить, откуда в Советском Союзе столько югославов, если и оказавшиеся там немногочисленные политические эмигранты пропали во время чисток.

Сейчас, в Москве, мне все стало понятно: главная масса югославской бригады состояла из военнослужащих полка, посланного на советский фронт хорватским квислингом Павеличем в знак солидарности с немцами. Но у армии Павелича и там не было удачи — полк был разбит и взят в плен под Сталинградом. После обычной чистки он был превращен во главе с его командиром Месичем в югославскую антифашистскую бригаду. С разных концов набрали немного югославских политических эмигрантов и направили в полк на политические должности, а советские офицеры — военные специалисты и из госбе-

зопасности — взяли в свои руки обучение и проверку его личного состава.

Советские представители сначала хотели ввести в бригаде те же знаки различия, что и в королевской югославской армии, но, натолкнувшись на сопротивление Влаховича, согласились ввести знаки Народно-освободительной армии. Договориться об этих знаках в телеграммах было трудно. Влахович все же сделал, что мог — знаки были смесью фантазии и компромисса. По нашему настоянию был разрешен, наконец, и этот вопрос.

Других существенных проблем в бригаде не было, если не считать нашего недовольства тем, что в ней остался старый командир. Но русские его защищали, говоря что он раскаялся и положительно воздействует на людей. У меня создалось впечатление, что Месич был глубоко деморализован и что он, как и многие другие, сменил вехи, чтобы избежать лагеря военнопленных. Своим положением он и сам не был доволен, так как всем было ясно, что его значение в бригаде было ничтожным, чисто формальным.

Бригада стояла вблизи Коломны в лесу. Размещена она была в землянках и проходила обучение, не обращая внимание на жестокую русскую зиму.

Вначале меня удивила суровая дисциплина, царившая в бригаде — было противоречие между целями, которым должна была служить эта часть и способом, которым убеждали личный состав поверить в эти цели. У нас в партизанских частях царили товарищество и солидарность, а строгие наказания применялись лишь в случаях грабежа и дисциплинарных проступков. Здесь же все базировалось на слепом подчинении, которому могли бы позавидовать пруссаки Фридриха I. Ни намека на сознатель-

ную дисциплину, которой мы научились в Югославии и которой учили других. Но и тут мы ничего не могли изменить — ни в отношении непомерно строгих советских инструкторов, ни в отношении бойцов, которые вчера еще сражались на стороне немцев. Мы произвели смотр, произнесли речи, кое-как обсудили проблемы и оставили все без изменения. Состоялся и неизбежный пир с офицерами — они быстро перепились, поднимая здравицы за Тито и Сталина и лобызаясь во имя славянского братства.

Между прочим, одной из побочных наших задач была разработка первых орденов новой Югославии. Нам и здесь пошли навстречу, а что ордена — особенно «В память 1941 года» — получились плохими, то виной этому не столько советская фабрика, сколько наша скромность и бедность рисунков, привезенных из Югославии.

Надзором за подразделениями из иностранцев ведал генерал НКВД Жуков. Стройный и бледный блондин, еще молодой и очень находчивый, не без юмора и тонкого цинизма — свойств нередких среди работников секретных служб. Про югославскую бригаду он сказал мне:

— Она совсем неплоха, если учесть материал, которым мы располагали.

И это было правдой. Бригада позже, в боях против немцев в Югославии не оказалась на высоте, хотя и понесла громадные потери — не столько из-за боевых качеств личного состава, сколько из-за уродливости ее организации и отсутствия опыта взаимодействия с армией, отличающейся от советской, и еще потому, что война велась здесь иначе, чем на Восточном фронте.

Генерал Жуков тоже устроил в нашу честь прием. Военный атташе Мексики в разговоре со мной пред-

ложил помощь, — но ни он, ни я, к сожалению, не могли сообразить, как доставить эту помощь борцам в Югославии.

Перед отъездом из Москвы я был на обеде у генерала Жукова. Он занимал с женой двухкомнатную квартирку. Она была удобно, но скромно обставлена, хотя по московским условиям, да еще в военное время, казалась почти роскошной. Жуков был отличным служакой и на основе опыта больше верил в силу, чем в идеи как средство осуществления коммунизма. Наши отношения приобрели оттенок какой-то интимности и в то же время сдержанности, так как ничто не могло устранить различий в наших привычках и точках зрения — политическая дружба ценна только если каждый остается самим собой.

На прощанье Жуков подарил мне офицерский автомат — скромный, но соответствующий обстоятельствам подарок.

Была у меня тогда и встреча совсем иного характера — с органами советской разведки. Через капитана Козовского со мной в ЦДКА познакомился скромно одетый человечек, который не скрывал, что говорит от имени органов госбезопасности. Мы условились встретиться на следующий день, с применением такого количества конспиративных уловок, что я — именно потому, что много лет сам был подпольщиком — увидел в этом излишние и шаблонные усложнения. В ближнем переулке меня ждал автомобиль, затем, после петляния по городу, мы перешли в другой, покинули его на одной из улиц огромного города и пешком вышли на следующую, где нам из окна громадного дома сбросили ключ, которым мы открыли большую роскошную квартиру на третьем этаже.

Хозяйка квартиры — если это была хозяйка —

была одной из тех северных блондинок с прозрачными глазами, которых полнота делает только более красивыми и мощными. Но ее бодрая красота, по крайней мере при встрече со мной, не играла никакой специальной роли. Оказалось, что она рангом выше, чем приведший меня — она спрашивала, а он записывал. Их больше интересовало, кто у нас в руководящих органах коммунистической партии и что это за люди, чем сведения о других югославских партиях. У меня было неприятное ощущение полицейского допроса, но я знал, что как коммунист обязан дать требуемые сведения. Если бы меня вызвал кто-нибудь из членов Центрального комитета советской партии — я не стал бы сомневаться. Но зачем данные о коммунистической партии и руководящих коммунистах этим людям, если их обязанность — борьба с врагами Советского Союза и возможными провокаторами в коммунистических партиях? Я все же отвечал на вопросы, избегая любых точных и, во всяком случае, отрицательных оценок, особенно же всего, что касалось внутрипартийных трений. Делал я это из чувства морального отталкивания, не желая говорить о своих товарищах что бы то ни было без их ведома, по внутреннему инстинктивному нежеланию вводить в свой интимный мир и посвящать во внутренние дела моей партии тех, кто не имел на это права. Мое неприятное ощущение передалось, конечно, и хозяевам — рабочая часть встречи продолжалась не более полутора часов и затем перешла в менее напряженную товарищескую беседу за чаем с печеньем.

Зато с советскими общественными деятелями я встречался чаще и ближе.

В то время в СССР контакты с иностранцами из союзных государств не были так строго ограничены.

Потому что была война, и мы — представители единственной партии и единственного народа, поднявших восстание против Гитлера — возбуждали любопытство многих людей. К нам приходили писатели в поисках новых идей, работники фильма в поисках интересных сюжетов, журналисты за материалами для статей и информацией, молодые люди и девушки, с просьбой помочь им попасть в Югославию в качестве добровольцев.

«Правда», наиболее значительная газета, хотела получить от меня статью о борьбе в Югославии, «Новое время» — о Тито.

И в первом и во втором случае во время редактирования этих статей я встретился с трудностями.

«Правда» вычеркнула главным образом все, имевшее отношение к характеру борьбы и ее политическим последствиям. Подгонка статей под партийную линию практиковалась и в нашей партии. Но это делалось только при резких отклонениях и в случае деликатных вопросов. «Правда» же выбросила все, что касалось сути нашей борьбы — новой власти и социальных перемен. Она шла даже так далеко, что изменяла мой стиль, выбрасывая каждый необычный образ, сокращая фразы, изменяя обороты. Статья стала серой и бестемпераментной. После спора с одним из сотрудников я согласился и разрешил уродовать статью — не имело смысла портить из-за этого отношений и лучше было опубликовать хоть это, чем вообще ничего.

С «Новым временем» пришлось сражаться еще упорнее. Там несколько меньше оскопили мой стиль и темперамент, но смягчили или вычеркнули почти все места, где говорилось об особом и исключительном значении личности Тито. На первой встрече с одним из сотрудников «Нового времени» я согла-

сился с изменением каких-то несущественных мелочей. Но только на второй — когда я понял, что в СССР нельзя хвалить никого, кроме Сталина, и когда сотрудник так открыто и сказал: «Это неудобно из-за товарища Сталина, так у нас принято!» — я согласился и на остальные поправки, кстати еще и потому, что в статье была сохранена ее сущность и колорит.

Для меня и для других югославских коммунистов ведущая роль Сталина была неоспоримой. Но мне все-таки было непонятно, почему нельзя возвеличивать и других коммунистических вождей — в данном случае Тито — если они, с коммунистической точки зрения, этого заслуживают.

Следует добавить, что сам Тито статьей был очень польщен и что в советской печати, насколько мне известно, никогда еще не была опубликована столь высокая оценка какого бы то ни было другого деятеля — во время его жизни.

5

Это объясняется тем, что советская общественность — естественно, партийная, так как другая себя активно, открыто, не проявляла — была увлечена борьбой югославов. Но также и тем, что ход войны изменил атмосферу советского общества.

Глядя в прошлое, я мог бы сказать: тогда стихийно распространилось убеждение, что после войны — во время которой советские люди еще раз доказали верность родине и основным идеям революции — не будет надобности в политических ограничениях, а также идеологических и иных монополиях группки вождей, и уж во всяком случае — одного

вождя. На глазах советских людей менялся мир. Было очевидно, что СССР не будет больше единственной социалистической страной и что появляются новые революционные вожди и трибуны.

Такая атмосфера и такие настроения не только не мешали в то время советскому руководству, а наоборот, облегчали ему ведение войны. Было много причин, по которым и оно само поддерживало подобные иллюзии. А кроме того Тито, вернее борьба югославов, изменяла отношения на Балканах и в Средней Европе, нисколько не угрожая позициям Советского Союза, а наоборот, укрепляя их — и не было причин не популяризовать и не поддерживать эту борьбу.

Но было одно еще более важное обстоятельство. Хотя советская власть, вернее, советские коммунисты и были в союзе с западными демократиями, они ощущали себя в этой борьбе одинокими — только они одни сражались за свое существование и за сохранение своего образа жизни. А так как второго фронта не было — вернее, не было крупных сражений на этом фронте в моменты, решающие судьбы русского народа — одиноким ощущал себя и простой человек, рядовой боец. Югославское восстание снимало это чувство одиночества и у руководства и у народа.

Я — и как коммунист и как югослав — был тронут любовью и уважением, которые встречал повсюду, в особенности в Красной армии. Со спокойной совестью записал я в книге для посетителей на выставке трофейного немецкого оружия: «Горжусь тем, что здесь нет оружия из Югославии!» — потому что там было оружие изо всей Европы.

Нам предложили посетить югозападный фронт —

Второй украинский фронт, которым командовал маршал И. С. Конев.

Наш самолет спустился возле Умани, городка на Украине — среди опустошений и ран, оставленных войной и бесконечной человеческой ненавистью.

Местный совет устроил нам ужин и встречу с общественными работниками города. Ужин не мог быть веселым в запущенном, полуразрушенном здании, а уманьский епископ и секретарь партии не умели скрыть взаимной неприязни, несмотря на присутствие иностранцев и на то, что оба они — каждый посвоему — боролись против немцев.

Я уже знал от советских партийных работников, что русский патриарх, как только вспыхнула война, начал — не спрашивая разрешения правительства — рассылать гектографированные послания против немецких захватчиков и что послания эти находили отклик, охватывая не только подчиненное ему священство, а гораздо более широкие круги. Эти воззвания были привлекательными и по форме — среди однообразия советской пропаганды от них веяло свежестью древнего и религиозного патриотизма. Советская власть быстро приспособилась и начала опираться на церковь, хотя и продолжала считать ее пережитком прошлого. Во время невзгод войны религиозность ожила и начала распространяться, а начальник военной миссии в Югославии, генерал Корнеев, рассказывал, как многим — причем весьма ответственным — товарищам, в часы смертельной угрозы со стороны немцев, приходило в голову обратиться к православию, как к более долгодействующему идеологическому стимулятору.

— Мы бы с помощью православия спасали Россию, если бы это было необходимо! — объяснял он.

Сегодня это звучит невероятно, — но только лишь

для тех, кто не представляет себе всей тяжести ударов, обрушившихся тогда на русский народ, для тех, кто не понимает, что каждое человеческое общество воспринимает и развивает именно те идеи, которые в данный момент наилучшим образом его сохраняют и улучшают условия для его существования. Генерал Корнеев хотя и был пьяницей, но был не глуп и глубоко привержен советской системе и коммунизму. Мне, выросшему в революционном движении, которое боролось за существование именно при помощи чистоты своих идей, гипотезы генерала Корнеева казались смешными. И тем не менее я нисколько не удивился, когда уманьский епископ поднял тост за Сталина, как за «собирателя русских земель» — настолько усилился русский патриотизм, если не сказать национализм. Сталин инстинктивно понял, что ни его социальная система, ни власть не удержатся под ударами немецких армий, если не обратиться к исконным стремлениям и самобытности русского народа.

Уманьский секретарь обкома едва скрывал досаду, глядя, как владыка умело и как бы вскользь подчеркивал роль Церкви. А больше всего секретаря раздражало пассивное настроение жителей — партизанский отряд, которым он командовал во время оккупации, был настолько малочислен, что не мог справиться даже с украинской пронемецкой полицией.

И действительно, скрыть пассивное отношение украинцев к войне и советским победам было невозможно. Население оставляло впечатление угрюмой скрытности, а на нас не обращало никакого внимания. И хотя офицеры — единственные люди, с которыми у нас был контакт — молчали или говорили о настроениях украинцев в преувеличенно опти-

мистических тонах, русский шофер крыл их матом за то, что они плохо воевали, а русские теперь вот должны их освобождать.

На следующий день мы двинулись сквозь украинскую весеннюю грязь — по победоносному следу Красной армии. Разбитая, искалеченная немецкая техника, которую мы часто встречали, дополняла картину уменья и мощи Красной армии, но больше всего восхищала нас выносливость и скромность русского солдата, способного днями, неделями, по пояс в грязи, без хлеба и сна выдерживать ураган огня и стали и отчаянные атаки немцев.

Если отбросить односторонние догматические и романтические увлечения, то я бы и сегодня, как и тогда, высоко оценил качество Красной армии и в особенности ее русского ядра.

Хотя советский командный состав, а еще в большей степени солдаты и младшие командиры, воспитаны политически односторонне, однако во всех других отношениях у них развивается инициатива, широта культуры и взглядов. Дисциплина строгая и безоговорочная — но не бессмысленная — подчинена главным целям и задачам. У советских офицеров не только хорошее специальное образование, одновременно они — наиболее талантливая, наиболее смелая часть советской интеллигенции. Хотя им сравнительно хорошо платят, они не замыкаются в закрытую касту; от них не требуют чрезмерного знания марксистской доктрины — они прежде всего должны быть храбрыми и не удаляться от поля боя — командный пункт командира корпуса возле Ясс был всего в трех километрах от немецких передовых линий. Хотя Сталин и провел большие чистки, в особенности среди высшего командного состава, это имело меньше последствий, чем предполагают, так

как он одновременно без колебаний возвышал молодых и талантливых людей — каждый офицер, который был ему верен, знал, что его амбиции будут поняты. Быстрота и решительность, с которой Сталин во время войны производил перемены в высшем командном составе, подтверждают, что он был находчив и предоставлял возможности наиболее талантливым. Он действовал одновременно по двум направлениям: вводил в армии абсолютное подчинение правительству, партии и лично себе и ничего не жалел для усиления ее боеспособности, улучшения уровня жизни ее состава, — а также быстро повышал в чинах наиболее способных.

Впервые в Красной армии я услышал от командующего одной из армий — тогда для меня странную, но смелую мысль:

«Когда коммунизм победит во всем мире — сказал он — войны станут предельно жестокими».

По марксистской теории, которую советские командиры знали не хуже меня, война есть только результат классовой борьбы, а поскольку коммунизм должен уничтожить классы, исчезла бы и потребность человечества воевать. Но мой генерал, как и многие русские воины, как и сам я, в жестоких битвах, сквозь ужасы войны ущутили и какие-то более отдаленные истины: борьба между людьми стала бы предельно жестокой именно после того, как все человечество подчинилось бы одной общественной системе. Потому что систему невозможно сохранить в ее чистом виде и различные ее секты начали бы беспощадно уничтожать человеческий род — для того, чтобы его «осчастливить». Эта мысль у советских офицеров, воспитанных на марксизме, была оттеснена на задний план. Но я ее не забыл, да впрочем и тогда не посчитал случайной. Пусть они четко не

осознавали, что в том обществе, которое они защищают, тоже существуют глубокие антагонистические расхождения. Но у них несомненно возникала неясная мысль, что человек — хотя он и не может существовать вне определенного общества и определенных идей — живет еще и по каким-то другим, не мене значительным и незыблемым законам.

Мы привыкли уже ко многому в Советском Союзе. Но нас — детей партии и революции, путем аскетического соблюдения чистоты риз, обретших веру в себя и доверие народа — все же поразила попойка, устроенная в нашу честь в штабе маршала Конева в одном бессарабском селе перед нашим отъездом с фронта.

Девушки — слишком красивые и слишком разряженные для официанток, подавали громадные количества изысканных яств, — икру, балыки, семгу, форель, свежие огурцы и соленые молодые помидоры, вареные окорока, холодных заливных поросят, горячие пирожки и пикантные сыры, затем борщи, горячие котлеты и, наконец, торты в пядь толщиною и подносы с южными фруктами, от которых гнулись столы.

У советских офицеров чувствовалась скрытая радость предвкушения пира и они явились на него с намерением объесться и перепиться. Но югославы шли туда, как на великое искушение — им надо было пить, хотя это не совпадало с их «коммунистической моралью», с традициями их армии и партии. Но держались они превосходно, в особенности если учесть их непривычку к алкоголю — страшное напряжение воли и сознания помогло им пережить множество здравиц «до дна» и до конца удержаться на ногах.

Я как всегда пил мало и осторожно, ссылаясь на

головные боли, которыми тогда действительно страдал. Генерал Терзич выглядел трагически — он пил против воли, не зная, что возразить русскому собрату, когда тот поднимал тост за Сталина — в особенности если он только что выпил до дна за Тито.

Еще более трагически выглядел сопровождающий нас полковник из советского Генштаба, на которого, как на «тыловую крысу» ополчились маршал и его генералы, используя при этом свои высокие чины. Маршал Конев не обращал внимания на то, что полковник был болезненным: он и попал-то на работу в Генштаб после того, как был изранен на фронте. Маршал просто приказал:

— Полковник, выпейте сто грамм за успех Второго украинского фронта!

Наступило молчание. Все повернулись к полковнику, а я хотел было за него заступиться. Но он стал по стойке смирно и выпил — вскоре на его высоком и бледном лбу выступили горошинки пота.

Но пили не все — не пили те, кто нес ответственность за связь с фронтом. Не пили штабы на фронте, кроме как в минуты несомненного затишья. Рассказывали, что Жданов во время финской кампании из-за страшных холодов предложил Сталину выдавать по сто граммов водки в день на солдата — с тех пор этот обычай остался в Красной армии. Перед наступлением выдавали двойную порцию.

«Бойцы ощущают себя более беззаботными!» — разъясняли нам.

Не пил и сам маршал Конев — он страдал болезнью печени и врачи ему запретили, а никого старшего чином, кто мог бы приказать ему пить, не было.

Лет пятидесяти от роду, блондин, высокого роста, с очень энергичным костистым лицом, он хотя и

поощрял кутеж, придерживаясь официальной «философии», что «людям надо время от времени дать возможность повеселиться», но сам был выше ее, уверенный в себе и в своих фронтовых частях.

Писатель Полевой, сопровождавший нас на фронт как корреспондент «Правды» и слишком уж часто и тенденциозно восхищавшийся геройством и преимуществами своей страны, рассказывал нам о случаях, свидетельствующих о сверхчеловеческом самообладании и храбрости Конева. Когда наблюдательный пункт, на котором он как раз в этот момент находился, был накрыт огнем немецких минометов, он, делая вид, что наблюдает в бинокль, на самом деле искоса посматривал, как держатся его офицеры. Каждый из них знал, что тут же будет разжалован, если обнаружит малейшее колебание, а указать самому Коневу на опасность, грозящую его жизни, никто не решался. Так это и продолжалось — люди падали мертвые и раненные, но он покинул позицию только после того, как наблюдение и все остальное было закончено. В другой раз осколок попал ему в ногу — с него сняли сапог, перевязали ногу, но он остался на позиции.

Конев был одним из новых, сталинских, военных командиров. Однако его карьера не была ни столь стремительной, ни столь бурной, как у Рокоссовского. Вступил Конев в Красную армию сразу после революции молодым рабочим и постепенно повышался по службе, одновременно проходя военные школы. Но и он ковал свою карьеру в боях, что было типичным для советской армии под руководством Сталина во второй мировой войне.

Неразговорчивый, Конев мне в нескольких словах рассказал про операцию под Корсунь-Шевченковским, которая только что закончилась и которую в

Советском Союзе сравнивали со сталинградской битвой. Не без ликования он рисовал картину окончательной немецкой катастрофы: восемьдесят, если не все сто тысяч отказавшихся сдаться немцев, были сбиты на небольшом пространстве, затем танки смяли все их тяжелое вооружение и пулеметные гнезда, после чего их добила казачья конница.

— Мы дали казакам рубить сколько душе угодно — они рубили даже руки тем, кто подымал их, чтобы сдаться! — рассказывал с улыбкой маршал.

Должен сознаться, что и я в тот момент радовался такой судьбе немцев — нацизм и моей стране во имя высшей расы навязал войну, лишенную всех традиционных признаков гуманности. Но при этом я ощущал и другое, — ужас, что все происходит именно так, что иначе быть не может.

Сидя по правую сторону от этой выдающейся личности, я воспользовался случаем, чтобы выяснить некоторые из особенно интересовавших меня вопросов.

Во-первых, почему были сменены со своих командных постов Ворошилов, Буденный и другие крупные военачальники, с которыми Советский Союз вошел в войну?

Конев отвечал:

— Ворошилов человек непомерной храбрости, но методы современной войны он не сумел освоить. Его заслуги громадны, — но войну надо выиграть. Красная армия в гражданскую войну, из которой вышел и Ворошилов, практически не имела против себя авиации и танков, а в нынешней войне именно они играют решающую роль. Буденный никогда много не знал и ничему не учился — он оказался совершенно непригодным и допустил громадные ошибки.

Шапошников был и остался специалистом — штабным офицером.

— А Сталин? — спросил я.

Осторожно, чтобы не показать, что вопрос его удивил, Конев, немного подумавши, ответил:

— Сталин талантлив всесторонне — он блестяще разобрался в войне, как в целом и это обеспечивает ему успешное руководство.

Он не сказал ничего больше и ничего такого, что напоминало бы стандартное возвеличивание Сталина. О сталинском руководстве в чисто военных операциях он умолчал. Конев — старый коммунист, глубоко преданный правительству и партии, но, я бы сказал, упорный в своих взглядах на вопросы военные.

Конев нам вручил и подарки: для Тито свой личный бинокль, а нам пистолеты, — свой я хранил, пока его не конфисковали во время моего ареста в 1956 году.

На фронте было множество примеров личного геройства и непреодолимой стойкости и инициативы солдатских масс. Исполненная лишений, Россия была вся крайним напряжением и волей к конечной победе. В те дни Москва, и мы вместе с нею, по-детски предавалась «салютам» — фейерверкам, приветствовавшим победы, за которыми стояли пожар и смерть, надежды и ожесточение. Это была и для югославских борцов радость среди горя, постигшего их землю. Как будто в Советском Союзе ничего и не было, кроме этого гигантского, самозабвенного напряжения безбрежной страны и многомиллионного народа. Я только это и видел, необъективно ставя знак равенства между патриотизмом русского народа и советской системой, потому что и я о ней мечтал, за нее боролся.

6

Было около пяти часов пополудни — я только что закончил доклад во Всеславянском комитете и начал отвечать на вопросы — когда мне шепнули, что надо немедленно кончать, что есть важное и неотложное дело. Этому моему докладу придавали особое значение не только мы, югославские работники, но и советские — избранной публике меня представил помощник Молотова А. Лозовский. Проблема Югославии явно становилась все более неотложной и для союзников.

Я извинился — или кто-то извинился за меня — и с недосказанными мыслями меня вместе с генералом Терзичем вывели на улицу и усадили в чужой и довольно потрепанный автомобиль. Машина двинулась — и только тогда незнакомый полковник госбезопасности сообщил нам, что мы будем приняты Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В то время наша миссия была перемещена на дачу в Серебряный Бор — предместье Москвы — и я, вспомнив о подарках для Сталина, с беспокойством подумал, что мы запоздаем, если поедем за ними так далеко. Но непогрешимая госбезопасность позаботилась и об этом — подарки лежали в машине возле полковника. Всё, следовательно, было в порядке, даже наши формы: дней десять как мы уже облачились в новые, сшитые в советских мастерских. Надо было только не волноваться, слушать полковника и задавать как можно меньше вопросов.

Ко второму я уже привык. Но своего возбуждения я не мог перебороть — оно возникло из непостижимых глубин моего бытия, и я сам осознавал свою бледность и радостное, почти паническое беспокойство.

Но что могло быть более возвышенным и волнующим для коммуниста, прибывшего с войны, из революции?

Быть принятым у Сталина — это было наивысшим признанием героизма и страданий партизанских бойцов и нашего народа. Для тех, кто побывал в тюрьмах, участвовал в военной резне и пережил жестокие душевные переломы и борьбу против внутренних и внешних противников коммунизма, Сталин был чем-то бóльшим, чем вождь в борьбе. Он был воплощением идеи, был претворен в коммунистических головах в чистую идею, а тем самым в нечто непогрешимое и безгрешное. Сталин был нынешней победной борьбой и грядущим братством человечества. Я знал, что только благодаря случайности именно я — первый югославский коммунист, которого он принимает. Но я ощущал гордость и радость, что об этой встрече смогу рассказать своим товарищам, а кое-что сообщить и югославским борцам.

Вмиг исчезло все отрицательное в СССР, а все недоразумения между нами и советскими руководителями потеряли значение и вес, как будто их не бывало. Все отталкивающее исчезало перед потрясающими размерами и красотой того, что во мне происходило. Что значила моя личная судьба в сравнении с масштабами борьбы и наши недоразумения в сравнении с грядущим осуществлением идеи?

Читатель должен знать, что я тогда верил, что троцкисты, бухаринцы и другие партийные оппозиционеры были действительно шпионами и вредителями и что этим самым были оправданы и жестокие меры по отношению к ним — так же, как и к другим, так называемым классовым врагам. Если я и замечал, что те, кто был в СССР во время чисток середины тридцатых годов, что-то недоговаривали,

то я считал, что это относится к незначительным моментам или к перегибам — к надрезам по здоровому телу, чтобы без остатка удалить гниль, как это сформулировал Димитров в разговоре с Тито, который нам это пересказал. Поэтому я на жестокости, творимые Сталиным, смотрел именно так, как их изображала его пропаганда — как на неизбежные революционные меры, от чего его личность и его историческое значение только выигрывали. Я и сегодня не могу точно определить, что бы я делал, если бы знал правду о процессах и чистках. С уверенностью могу сказать, что я пережил бы серьезный кризис совести, но не исключено, что и дальше оставался бы коммунистом — с верой в коммунизм более совершенный, чем тот, который реально существует. Потому что для коммунизма как идеи важнее не средства, а цель, ради которой все совершается. Кроме того, коммунизм был самой разумной, самой захватывающей идеологией для меня и для тех людей в моей, охваченной усобицами и отчаянием стране, которые хотели забыть столетия рабства и отсталости и перегнать саму реальность.

Я еще не успел внутренне подготовиться, как автомобиль был уже у кремлевских ворот. Здесь нас перенял другой офицер и машина двинулась по холодным площадям, на которых не было ничего живого, кроме тоненьких нераспустившихся деревьев. Офицер обратил наше внимание на царь-пушку и царь-колокол, абсурдные символы России, которые никогда не стреляли и не звонили. Слева осталась монументальная колокольня Иван Великий, затем ряд старинных пушек и вскоре мы очутились перед входом в невысокое продолговатое здание, какие строили в середине девятнадцатого века для канцелярий или больниц. Здесь нас тоже ожидал

офицер и повел внутрь. Внизу у лестницы мы сняли шинели, причесались перед зеркалом и были введены в лифт, который на первом этаже нас выбросил в длинный корридор, устланный красным ковром.

На каждом повороте нас звонким стуком каблуков приветствовал офицер — все были молодые, красивые и неподвижно застывшие, в голубых фуражках внутренней охраны. И тут и в дальнейшем поражала чистота, настолько совершенная, что казалось невероятным, что здесь живут и работают люди — на тканях не было видно ни волоска, на медных ручках — ни пятнышка.

Наконец нас ввели в небольшую канцелярию, где уже ждал генерал Жуков. Низкий, полный, рыхлый пожилой служащий предложил нам сесть, а сам медленно поднялся из-за стола и ушел в соседнее помещение.

Все произошло неожиданно быстро: служащий скоро вернулся и сообщил, что можно войти. Я думал, что надо будет пройти еще по крайней мере три кабинета, пока увижу Сталина, но открыв дверь и переступив порог, я сразу его увидел — он выходил из небольшой соседней комнаты, сквозь открытые двери которой виднелся громадный глобус. Молотов тоже был здесь — плотный и белотелый, в прекрасном темносинем европейском костюме, он стоял возле длинного стола для заседаний.

Сталин нас встретил посреди помещения — я подошел первым и представился. То же самое сделал и Терзич, произнеся весь свой титул и щелкнув каблуками, на что наш хозяин — это было почти смешно — ответил: Сталин.

Мы пожали руку также Молотову и сели — справа

от Сталина, который сел во главе стола, был Молотов, а слева я, Терзич и генерал Жуков.

Это было небольшое продолговатое помещение без роскоши и украшений. Над небольшим письменным столом висела фотография Ленина, а на стене, над столом для заседаний — небольшие изображения Суворова и Кутузова в одинаковых резных рамках, очень похожие на провинциальные раскрашенные фотографии.

Самым простым был хозяин. Сталин был в маршальской форме и мягких сапогах, без орденов, кроме золотой звезды — ордена Героя Советского Союза на левой стороне груди. В его поведении не было ничего искусственного, не было никакой позы. Это не был величественный Сталин с фотографий или из документальных фильмов — с замедленной продуманной походкой и жестами. Он ни на минуту не оставался спокойным — занимался трубкой с белой точкой английской фирмы Данхилл, очерчивал синим карандашом основное слово темы разговора и потом его постепенно перечеркивал косыми линиями, когда дискуссия об этом приближалась к концу, поворачивал туда-сюда голову, вертелся на месте.

И еще одно меня удивило: он был малого роста, тело его было некрасивым: туловище короткое и узкое, а руки и ноги слишком длинные — левая рука и плечо как бы слегка ограничены в движениях. У него был порядочный животик, а волосы редкие, хотя совсем лысым он не был даже на темени. Лицо у него было белым с румяными скулами — я узнал потом, что цвет этот характерен для тех, кто подолгу сидит в кабинетах, на советских верхах его называют «кремлевским». Зубы у него были черные и неправильные, загнутые внутрь. Даже усы не были густыми и представительными. Все же голова его

не была отталкивающей: что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское — быстрые желтые глаза, смесь строгости и плутоватости.

Поразил меня и его выговор: чувствовалось, что он не русский. Но его русский словарь был богат, а речь, в которую он вставлял русские пословицы и изречения, живописна и пластична. Позже я убедился, что Сталин хорошо знал русскую литературу — но только ее. Вне русских рамок он был хорошо знаком лишь с политической историей.

Одно для меня не было неожиданным: Сталин обладал чувством юмора — юмора грубого, самоуверенного, но не без изощренности и глубины. Он реагировал быстро, резко, без колебаний и, по-видимому, не был сторонником долгих разъяснений — хотя собеседника он выслушивал. Характерно было его отношение к Молотову — очевидно, Сталин считал его своим ближайшим сотрудником. Как я убедился позже, Молотов был единственным из членов Политбюро, к которому Сталин обращался на «ты»; это много значит, если принять во внимание, что русские часто обращаются на «вы» даже к довольно близким людям.

Разговор начался с того, что Сталин поинтересовался нашими впечатлениями о Советском Союзе. Я сказал:

— Мы воодушевлены!

На что он заметил:

— А мы не воодушевлены, хотя делаем все, чтобы в России стало лучше.

Мне врезалось в память, что Сталин сказал именно Россия, а не Советский Союз. Это означало, что он не только инспирирует русский патриотизм, но и увлекается им, себя с ним идентифицирует.

Но времени размышлять об этом не было, потому

что Сталин сразу перешел к отношениям с королевским югославским правительством в эмиграции, спросив Молотова:

— А не сумели бы мы как-нибудь надуть англичан, чтобы они признали Тито — единственного, кто фактически борется против немцев?

Молотов усмехнулся — в усмешке была ирония и самодовольство:

— Нет, это невозможно — они полностью разбираются в отношениях, создавшихся в Югославии.

Меня привел в восторг этот непосредственный обнаженный подход, которого я не встречал в советских учреждениях и тем более в советской пропаганде. Я почувствовал себя на своем месте, больше того — рядом с человеком, который относится к реальности так же, как и я, не маскируя ее. Не нужно, конечно, пояснять, что Сталин был таким только среди своих людей, то есть, среди преданных ему и поддерживающих его линию коммунистов.

И хотя Сталин не обещал, что признает Национальный комитет как временное югославское правительство, было видно, насколько он заинтересован в его усилении. Направление дискуссии и точка зрения Сталина были настолько ясны, что я даже не поставил этого вопроса непосредственно. Было очевидно, что советское правительство признало бы комитет немедленно, если бы пришло к убеждению, что для этого наступил подходящий момент и если бы развитие событий не шло иным путем — путем нахождения временного компромисса между Британией и СССР, вернее между Национальным комитетом и югославским королевским правительством.

Так этот вопрос и остался неопределенным — надо было ждать и искать решений.

Но зато вполне определенно Сталин разрешил вопрос оказания помощи югославским борцам.

Когда я упомянул заем в двести тысяч долларов, он сказал, что это мелочь и что это мало поможет, но что эту сумму нам сразу вручат. А на мое замечание, что мы вернем заем и заплатим за поставку вооружения и другого материала после освобождения, он искренне рассердился:

— Вы меня оскорбляете, вы будете проливать кровь, а я — брать деньги за оружие! Я не торговец, мы не торговцы, вы боретесь за то же дело, что и мы, и мы обязаны поделиться с вами тем, что у нас есть.

Но как помочь?

Было решено запросить у западных союзников согласия на создание воздушной советской базы в Италии, откуда бы направлялась помощь югославским партизанам.

— Попробуем, — сказал Сталин, — увидим, каковы позиции западных союзников и до какой степени они готовы помогать Тито.

Следует добавить, что эта база — из десяти транспортных самолетов, если я правильно помню — вскоре была и создана.

— Но самолетами много не поможешь — продолжал рассуждать Сталин. — Армию невозможно снабжать с самолетов, а вы уже армия. Суда для этого нужны. А судов у нас нет — наш черноморский флот уничтожен.

Вмешался генерал Жуков:

— У нас есть суда на Дальнем Востоке — мы бы могли их перебросить в наши черноморские порты и нагрузить оружием и всем необходимым.

Сталин его прервал грубо и категорически — из

сдержанного и почти шутливого Сталина проглянул другой:

— Что вам пришло в голову? Вы что, на земле? Ведь на Дальнем Востоке идет война — кто-нибудь да найдется, чтобы не пропустить или утопить суда. Ерунда! Суда надо купить. Но у кого? Сейчас судов не хватает. Турция? У Турции судов немного, да нам она и не продаст. Египет? Да, у Египта можно купить. Египет продаст — он все продает, продаст и суда.

Да, это был настоящий, не терпящий прекословия Сталин. Но к беспрекословности я привык уже в собственной партии, да и сам был к ней склонен — когда дело шло об окончательном определении позиции или вынесении решения.

Генерал Жуков быстро и молча записывал распоряжения Сталина.

Но до покупки и снабжения югославов при помощи советских судов не дошло. Главная причина этого в развитии операций на Восточном фронте — Красная армия вскоре вышла к югославским границам и была в состоянии помогать югославам сухим путем. Я считаю, что Сталин в тот момент действительно хотел нам помочь.

К этому свелась суть разговора.

Одновременно Сталин интересовался моим мнением об отдельных югославских политиках. Он спросил меня, что я думаю о Милане Гавриловиче, лидере сербских земледельцев и первом югославском после в Москве. Я сказал: лукавый человек.

Сталин прокомментировал как бы про себя:

— Да, есть политики, считающие, что хитрость в политике — самое главное. А на меня Гаврилович не произвел впечатления глупого человека.

Я добавил:

— Он политик с узкими взглядами, хотя нельзя сказать, что он глуп.

Сталин спросил, на ком женился югославский король Петр II. Когда я сказал, что на греческой принцессе, он шутя заметил:

— А что, Вячеслав Михайлович, если бы я или ты женились на какой-нибудь иностранной принцессе — может из этого вышла бы какая-нибудь польза?

Засмеялся и Молотов, но сдержанно и беззвучно.

Под конец я передал Сталину подарки — все они сейчас здесь казались особенно примитивными и бедными. Но он ничем не выразил пренебрежения. Увидав опанки он сказал:

— Лапти! — Взяв винтовку, открыл и закрыл затвор, взвесил ее в руке и прокомментировал:

— Наша легче.

Встреча продолжалась около часа.

Уже смеркалось, когда мы уезжали из Кремля: офицер, который нас сопровождал, очевидно заразился нашим восторгом — он смотрел на нас с радостью и в каждой мелочи старался пойти нам навстречу.

Северное сияние в это время года достигает Москвы и все было фиолетовым, трепещущим, мир казался нереальным, более красивым чем тот, в котором мы жили до тех пор.

Примерно так было и в моей душе.

7

Но у меня тогда была еще одна более значительная и интересная встреча со Сталиным.

Я запомнил, когда это было: в ночь накануне высадки союзников в Нормандии.

И на этот раз никто меня ни о чем не предупреждал. Просто мне сообщили, что надо явиться в Кремль, около девяти часов вечера, усадили в автомобиль и отвезли туда. Даже никто из миссии не знал, куда я еду.

Доставили меня в здание, где нас принимал Сталин, но в другие помещения. Там Молотов собирался к отъезду — надевал легкое пальто и шляпу и сказал, что мы едем на ужин к Сталину.

Молотов человек не очень разговорчивый. И если со Сталиным, когда он был в хорошем настроении и находился в обществе единомышленников, контакт был легким и непосредственным, Молотов оставался непроницаемым даже в частных разговорах. Все же в машине он спросил, каким языком я владею, кроме русского — я ответил, что французским. Разговор пошел о силе и организованности коммунистической партии Югославии. Я подчеркнул, что югославская партия вошла в войну будучи на нелегальном положении, относительно малочисленная — около десяти тысяч человек, — но отлично организованная.

— Как и большевистская партия в первую мировую войну, — прибавил я.

— Ошибаетесь, — возразил Молотов, — наша партия была в начале первой мировой войны очень слабой, организационно не связанной, разрозненной, малочисленной. Я помню, — продолжал он, — как я приехал в начале войны нелегально из Петрограда в Москву по партийным делам: мне негде было переночевать, пришлось рисковать и ночевать у сестры Ленина!

Молотов назвал и имя этой сестры, если не ошибаюсь, ее звали Марья Ильинишна.

Автомобиль шел со сравнительно большой ско-

ростью — около восьмидесяти километров в час — без задержек. Очевидно регулировщики узнавали его по какому-то признаку и пропускали вне очереди. Выехав из Москвы, мы двинулись по асфальтированному шоссе. Позже я узнал, что оно называется Правительственным шоссе, по которому еще долго после войны, — а может быть и сегодня? — разрешено было ездить только правительственным автомобилям. Вскоре мы подъехали к заставе. Офицер, сидевший возле шофера повернул какую-то табличку за ветровым стеклом и охрана пропустила нас безо всяких формальностей. Правое окно было опущено, Молотов заметил, что мне мешает сквозняк и начал поднимать окно — только тогда я заметил, что оно очень толстое и сообразил, что мы едем в блиндированном автомобиле. Думаю, что это был Паккард, потому что точно такую машину Тито получил в 1945 году от советского правительства.

Дней за десять до этого ужина немцы сбросили воздушный десант на Верховный штаб в Дрваре. Тито и военные миссии должны были отступить в горы. Югославское руководство было вынуждено совершать долгие и трудные марши, на которые терялось драгоценное время, необходимое для политической и иной деятельности. В острой форме возникла и проблема питания. Советская военная миссия подробно оповещала обо всем Москву, а наша миссия в Москве находилась в постоянном контакте с соответствующими советскими офицерами, чтобы помочь им советом в организации поддержки югославским бойцам и Верховному штабу. Советские самолеты даже летали туда по ночам и сбрасывали боеприпасы и продовольствие, правда, без особого успеха, так как грузы были рассеяны по большому

лесному массиву, который вскоре пришлось оставить.

Молотов по дороге интересовался моим мнением о положении, создавшемся в связи с этим. Его интерес был живым, но без возбуждения — больше для получения точной картины.

Так мы проехали около сорока километров, свернули влево на боковую дорогу и вскоре оказались в молодом ельнике. Снова шлагбаум, затем через короткое время — ворота. Мы были перед небольшой дачей, тоже в густом ельнике.

Как только мы из прихожей вошли в небольшой холл, появился Сталин — на этот раз в ботинках, в своем простом, застегнутом доверху сюртуке, известном по довоенным картинам. В нем он казался еще меньше ростом и еще более простым, совсем домашним. Он ввел нас в свой небольшой и, как ни странно, почти пустой кабинет — без книг, без картин, с голыми деревянными стенами. Мы сели возле небольшого письменного стола и он сразу начал расспрашивать о событиях вокруг югославского Верховного штаба.

По тому, как он этим интересовался, само собою обнаруживалось и различие между Сталиным и Молотовым.

У Молотова нельзя было проследить ни за мыслью, ни за процессом ее зарождения. Так же и характер его оставался всегда замкнутым и неопределенным. Сталин же обладал живым и почти беспокойным темпераментом. Он спрашивал — себя и других, и полемизировал — сам с собою и с остальными. Не хочу сказать, что Молотов не проявлял темперамента или что Сталин не умел сдерживаться и притворяться — позже я и того и другого видел и в этих ролях. Просто Молотов был всегда без от-

тенков, всегда одинаков, вне зависимости от того, о чем или о ком шла речь, в то время как Сталин был совсем другим в своей коммунистической среде. Черчилль охарактеризовал Молотова как совершенного современного робота. Это верно. Но это только внешняя и только одна из его особенностей. Сталин был холоден и расчетлив не меньше, чем Молотов. Но у Сталина была страстная натура со множеством лиц — причем каждое из них было настолько убедительно, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне переживает каждую из своих ролей. Именно поэтому он обладал большей проницательностью и большими возможностями, чем Молотов. Создавалось впечатление, что Молотов на все — в том числе на коммунизм и его конечные цели — смотрит, как на величины относительные, как на что-то, чему он подчиняется не столько по собственному хотению, сколько в силу неизбежности. Для него как будто не существовало постоянных величин. Преходящей, несовершенной реальности, ежедневно навязывающей нечто новое, он отдавал себя и всю свою жизнь. И для Сталина все было преходящим. Но это была его философская точка зрения. Потому что за преходящим и в нем самом — за данной реальностью и в ней самой — скрываются некие абсолютные великие идеалы, его идеалы, к которым он может приблизиться, конечно исправляя и сминая при этом саму реальность и находящихся в ней живых людей.

Глядя в прошлое, мне кажется, что Молотов со своим релятивизмом и способностью к мелкой ежедневной практике, и Сталин со своим фанатическим догматизмом, более широкими горизонтами и инстинктивным ощущением будущих, завтрашних возможностей — идеально дополняли друг друга. Боль-

ше того, Молотов, хотя и маломочный без руководства Сталина, был последнему во многом необходим. Хотя оба не стеснялись в выборе средств, мне кажется, что Сталин их все-таки внимательно обдумывал и сообразовывал с обстоятельствами. Для Молотова же выбор средств был заранее безразличен и неважен. Я думаю, что он не только подстрекал Сталина на многое, но и поддерживал его, устранял его сомнения. И хотя главная роль в претворении отсталой России в современную промышленную имперскую силу, принадлежит Сталину, — благодаря его многогранности и пробивной силе, — было бы ошибочно недооценивать роли Молотова, в особенности как практика.

Молотов и физически был как бы предназначен для такой роли: основательный, размеренный, собранный и выносливый. Он пил больше Сталина, но его тосты были короче и нацелены на непосредственный политический эффект. Его личная жизнь была незаметной и когда я через год познакомился с его женой, скромной и изящной, у меня создалось впечатление, что на ее месте могла быть и любая другая, способная выполнять определенные, необходимые ему функции.

Разговор у Сталина начался с его возбужденных вопросов о дальнейшей судьбе Верховного штаба и подразделений вокруг него.

— Они перемрут с голоду! — волновался он.

Но я доказывал ему, что этого не может произойти.

— Как не может? — продолжал он. — Сколько раз бывало, что борцов уничтожал голод! Голод — это страшный противник любой армии.

Я объяснил ему:

— Местность там такая, что всегда можно найти

какую-нибудь еду. Мы бывали и в гораздо более тяжелых положениях и нас не сломил голод.

Мне удалось его убедить и успокоить.

Затем он снова заговорил о возможности оказания нам помощи. Советский фронт был слишком далеко и истребители не могли еще сопровождать транспортных самолетов. В какой-то момент Сталин вспыхнул и начал ругать летчиков:

— Они трусы — боятся летать днем! Трусы, ей-богу, трусы!

Но Молотов, хорошо разбиравшийся во всей проблеме, начал защищать летчиков:

— Нет, они не трусы, отнюдь нет. Но у истребителей меньший радиус действия и транспортные самолеты были бы сбиты прежде, чем достигли бы цели. И полезный груз их незначителен — они должны забирать много горючего для обратного полета. Именно поэтому они могут летать только ночью и только с небольшим грузом.

Я поддержал Молотова, так как знал, что советские летчики добровольно предлагали летать и днем, то есть, без защиты истребителей, только чтобы помочь югославским товарищам по борьбе.

Но я полностью согласился со Сталиным, который считал, что Тито, при нынешнем развившемся и сложном положении, должен иметь более постоянное местопребывание и избавиться от необходимости быть все время начеку. Сталин, конечно, думал при этом и о советской миссии, по настоянию которой Тито только что согласился эвакуироваться в Италию, а оттуда на югославский остров Вис, где он оставался до прорыва Красной армии в Югославию. Сталин, правда, ничего не сказал об этой эвакуации, но мысль о ней уже формировалась в его голове.

Союзники уже согласились на создание советской

воздушной базы на итальянской территории, для помощи югославским борцам и Сталин подчеркнул необходимость ускоренной переброски транспортных самолетов и приведения в готовность самой базы.

Мой оптимизм по поводу исхода этого немецкого наступления на Тито явно привел Сталина в хорошее настроение, и он перешел к нашим отношениям с союзниками, в первую очередь с Великобританией, что и было — как мне уже тогда показалось — главной целью этой встречи со мной.

Сущность его мыслей состояла с одной стороны в том, что не надо «пугать» англичан, — под этим он подразумевал, что следует избегать всего, что может вызвать у них тревогу по поводу того, что в Югославии революция и к власти придут коммунисты.

— Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна, а результаты, а вы — красные звезды! Ей-богу, звезды не нужны! — сердился Сталин.

Но он не скрывал, что его раздражение невелико — это был только упрек.

Я ему разъяснил:

— Красные звезды снять невозможно, они стали уже традицией и приобрели в глазах наших бойцов определенный смысл.

Он остался при своем мнении, но не настаивал и снова перешел к взаимоотношениям с западными союзниками:

— А вы может быть думаете, что мы, если мы союзники англичан, забыли, кто они и кто Черчилль? У них нет большей радости, чем нагадить своим союзникам — в первой мировой войне они постоянно подводили и русских и французов. А Черчилль? Черчилль он такой, что если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет. Да, копейку из

кармана! Ей-богу, копейку из кармана! А Рузвельт? Рузвельт не такой — он засовывает руку только за кусками покрупнее. А Черчилль? Черчилль — и за копейкой.

Он несколько раз повторил, что нам следует опасаться Интеллидженс сервиса и коварства — особенно английского — в отношении жизни Тито:

— Ведь они убили генерала Сикорского, — а Тито бы и тем более. Что для них пожертвовать двумятремя людьми для Тито — они своих не жалеют! А про Сикорского — это не я говорю, это мне Бенеш рассказывал: посадили Сикорского в самолет и прекрасно свалили — ни доказательств, ни свидетелей.

Сталин несколько раз повторил эти предостережения, а я по возвращении передал их Тито. Они очевидно сыграли известную роль в подготовке его конспиративного ночного полета с о. Вис на советскую оккупационную территорию в Румынии 21 сентября 1944 года.

Затем Сталин перешел к нашим взаимоотношениям с югославским королевским правительством. Новым королевским представителем был др. Иван Шубашич, который обещал урегулировать взаимоотношения с Тито и признать Народно-освободительную армию главной силой в борьбе против оккупантов. Сталин настаивал:

— Не отказывайтесь от переговоров с Шубашичем, ни в коем случае не отказывайтесь. Не атакуйте его сразу — надо посмотреть, чего он хочет. Поговорите с ним. Вы не можете получить признания сразу — надо найти к этому переход. С Шубашичем надо говорить, может с ним можно как-то сговориться.

Он настаивал не категорически, но упорно. Я передал все Тито и членам Центрального комитета и,

надо полагать, это сыграло роль в известном соглашении Тито-Шубашич.

Затем Сталин пригласил нас к ужину, но в холле мы задержались перед картой мира, на которой Советский Союз был обозначен красным цветом и потому выделялся и казался больше, чем обычно. Сталин провел рукой по Советскому Союзу и воскликнул, продолжая свои высказывания по поводу британцев и американцев:

— Никогда они не смирятся с тем, чтобы такое пространство было красным — никогда, никогда!

На этой карте я обратил внимание на район Сталинграда, обведенный с запада синим карандашом — очевидно это сделал Сталин до или во время битвы за Сталинград. Он заметил мой взгляд и мне показалось, что ему это приятно, хотя он никак не обнаружил своих чувств.

Не помню, по какому поводу, я заметил:

— Без индустриализации Советский Союз не смог бы удержаться и вести такую войну.

Сталин прибавил:

— Вот вокруг этого мы и поссорились с Троцким и Бухариным.

Это было единственное — здесь, перед картой — что я когда-либо слыхал от него об этих его противниках: «Поссорились»!

В столовой нас уже ожидали, стоя, два или три человека из советских верхов, но из Политбюро не было никого, кроме Молотова. Я забыл их имена — да они и так всю ночь молчали и держались замкнуто.

В своих воспоминаниях Черчилль образно описывает импровизированный ужин в Кремле у Сталина. Но у Сталина постоянно так ужинали.

В просторной, без украшений, но отделанной со

вкусом столовой на передней половине длинного стола были расставлены разнообразные блюда в подогретых и покрытых крышками тяжелых серебряных мисках, а также напитки, тарелки и другая посуда. Каждый обслуживал себя сам и садился куда хотел вокруг свободной половины стола. Сталин никогда не сидел во главе, но всегда садился на один и тот же стул: первый слева от главы стола.

Выбор еды и напитков был огромным — преобладали мясные блюда и крепкие водки. Но все остальное было простым, без претензий. Никто из прислуги не появлялся, если Сталин не звонил, а понадобилось это только один раз, когда я захотел пива. Войти в столовую мог только дежурный офицер. Каждый ел, что хотел и сколько хотел, предлагали и понуждали только пить — просто так и под здравицы.

Такой ужин обычно длился по шести и более часов — от десяти вечера до четырех-пяти утра. Ели и пили неспеша, под непринужденный разговор, который от шуток и анекдотов переходил на самые серьезные политические и даже философские темы.

На этих ужинах в неофициальной обстановке приобретала свой подлинный облик значительная часть советской политики, они же были и наиболее частым и самым подходящим видом развлечения и единственной роскошью в однообразной и угрюмой жизни Сталина.

Сотрудники Сталина тоже привыкли к такому образу жизни и работы, проводя ночи на ужинах у Сталина или у кого-нибудь из других руководителей. В своих кабинетах они до обеда не появлялись, зато обыкновенно оставались в них до поздней ночи. Это усложняло и затрудняло работу высшей администрации, но она приспособилась. Приспособился

и дипломатический корпус, поскольку он имел контакт с кем-нибудь из членов Политбюро.

Не было никакой установленной очередности присутствия членов Политбюро или других высокопоставленных руководителей на этих ужинах. Обычно присутствовали те, кто имел какое-то отношение к делам гостя или к текущим вопросам. Но круг приглашаемых был очевидно узок и бывать на этих ужинах считалось особой честью. Один лишь Молотов бывал на них всегда — я думаю потому, что он был не только наркомом (а затем министром) иностранных дел, но фактически заместителем Сталина.

На этих ужинах советские вожди были наиболее близки между собой, наиболее интимны. Каждый рассказывал о новостях своего сектора, о сегодняшних встречах, о своих планах на будущее. Богатая трапеза и большие, хотя не чрезмерные количества алкоголя оживляли дух, углубляли атмосферу сердечности и непринужденности. Неопытный посетитель не заметил бы почти никакой разницы между Сталиным и остальными. Но она была: к его мнению внимательно прислушивались, никто с ним не спорил слишком упрямо — всё несколько походило на патриархальную семью с жёстким хозяином, выходок которого челядь всегда побаивалась.

Сталин поглощал количества еды, огромные даже для более крупного человека. Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Он любил и различные специальные блюда, которыми изобилует эта страна с разными климатами и цивилизациями, но я не заметил, чтобы какое-то определенное блюдо ему особенно нравилось. Пил он скорее умеренно, чаще всего смешивая в небольших бокалах красное вино и водку.

Ни разу я не заметил на нем признаков опьянения, чего не мог бы сказать про Молотова, а в особенности про Берию, который был почти пьяницей. Регулярно объедавшиеся на таких ужинах советские вожди днем ели мало и нерегулярно, а многие из них один день в неделю для «разгрузки» проводили на фруктах и соках.

На этих ужинах перекраивалась судьба громадной русской земли, новозанятых стран, а во многом и всего человечества. На них, конечно, никто не выступал в поддержку крупных творческих произведений «инженеров человеческих душ», зато, надо полагать, многие из этих произведений были там навеки похоронены.

Одного я там ни разу не слыхал — разговоров о внутрипартийной оппозиции и о расправах с нею. Это очевидно входило главным образом в компетенцию лично Сталина и секретной полиции. А поскольку советские вожди были тоже только людьми — про совесть они часто забывали, тем более охотно, что воспоминание о ней могло быть опасным для их собственной участи.

Я упомянул только то, что мне показалось значительным при этих свободных и незаметных переходах с темы на тему на этой встрече.

Напоминая о прежних связях южных славян с Россией, я сказал:

— Русские цари не понимали стремлений южных славян, для них важно было империалистическое наступление, а для нас — освобождение.

Сталин интересовался Югославией иначе, чем остельные советские руководители. Он не расспрашивал про жертвы и разрушения, а про то, какие создались там внутренние отношения и каковы реальные силы повстанческого движения. Но и эти сведе-

ния он добывал, не ставя вопросы, а в ходе собеседования.

В какой-то момент он заинтересовался Албанией:

— Что там происходит на самом деле? Что это за народ?

Я объяснил:

— В Албании происходит более или менее то же самое, что в Югославии. Албанцы наиболее древние жители Балкан — старше славян и даже древних греков.

— А откуда у них славянские названия населенных пунктов? — спросил Сталин. — Может быть, у них все-таки есть какие-то связи со славянами?

Я разъяснил и это:

— Славяне раньше населяли долины — оттуда славянские названия поселений, албанцы их во время турок оттеснили.

Сталин лукаво подмигнул:

— А я надеялся, что албанцы хоть немного славяне.

Рассказывая о способах ведения борьбы и жестокости войны в Югославии, я пояснил, что мы не берем немцев в плен, потому что и они каждого нашего убивают. Сталин перебил с улыбкой:

— А наш один конвоировал большую группу немцев и по дороге перебил их всех, кроме одного. Спрашивают его, когда он пришел к месту назначения: «А где остальные?» — «Выполняю», — говорит — «распоряжение Верховного командующего: перебить всех, до одного — вот я вам и привел одного».

В разговоре он заметил о немцах:

— Они странный народ, — как овцы. Я помню в детстве: куда баран, туда за ним и остальные. Помню, когда я был до революции в Германии: группа немецких социал-демократов опоздала на съезд, так

как должны были ожидать проверки билетов или чего-то в этом роде. Разве русские так бы поступили? Кто-то хорошо сказал: в Германии совершить революцию невозможно, так как пришлось бы мять газоны.

Он спрашивал меня, как называются по-сербски отдельные предметы. Естественно, обнаружилось большое сходство между русским и сербским языками.

— Ей-богу, — воскликнул Сталин, — что тут еще говорить: один народ!

Рассказывали и анекдоты и Сталину особенно понравился один, который рассказал я. Разговаривают турок и черногорец в один из редких моментов перемирия. Турок интересуется, почему черногорцы все время затевают войны? «Для грабежа», — говорит черногорец, — «мы — люди бедные, вот и смотрим, нельзя ли где пограбить. А вы ради чего воюете?» — «Ради чести и славы», — отвечает турок. На это черногорец: «Ну да, каждый воюет ради того, чего у него нет».

Сталин с хохотом прокомментировал:

— Ей-богу, глубокая мысль: каждый воюет ради того, чего у него нет!

Смеялся и Молотов, но опять скупо и беззвучно — действительно, у него не было способности ни создавать, ни воспринимать юмор.

Сталин расспрашивал, с кем из руководителей я встречался в Москве. Когда я упомянул Димитрова и Мануильского, он заметил:

— Димитров намного умнее Мануильского, намного умнее.

В связи с этим он вспомнил о роспуске Коминтерна:

— Они, западные, настолько подлы, что нам ни-

чего об этом даже не намекнули. А мы вот упрямые: если бы они нам что-нибудь сказали — мы бы его до сих пор не распустили! Положение с Коминтерном становилось все более ненормальным. Мы с Вячеславом Михайловичем тут головы ломаем, а Коминтерн проталкивает свое — и все больше недоразумений. С Димитровым работать легко, а с другими труднее. Но что самое важное — само существование всеобщего коммунистического форума в условиях, когда коммунистические партии должны найти национальный язык и бороться в условиях своей страны — ненормальность, нечто неестественное.

Во время ужина пришли две телеграммы — Сталин дал мне прочесть и одну и другую.

В одной было содержание разговора Шубашича в государственном департаменте. Шубашич стоял на такой точке зрения: мы, югославы, не можем идти ни против Советского Союза, ни проводить антирусскую политику, потому что у нас очень сильны славянские и прорусские традиции. Сталин на это заметил:

— Это он, Шубашич, пугает американцев! Но почему он их пугает? Да, пугает их! Но почему, почему?

Затем он прибавил, очевидно заметив удивление на моем лице:

— Они крадут у нас телеграммы, но и мы у них.

Вторая телеграмма была от Черчилля. Он сообщал, что завтра начнется высадка во Франции. Сталин начал издеваться над телеграммой:

— Да, будет высадка, если не будет тумана. Всегда до сих пор находилось что-то, что им мешало, — сомневаюсь, что и завтра что-нибудь будет. Они ведь могут натолкнуться на немцев! Что если они

натолкнутся на немцев? Высадки, может, и не будет, а как до сих пор — обещания.

Молотов, как всегда заикаясь, начал доказывать:

— Нет, на этот раз будет на самом деле.

У меня не создалось впечатления, что Сталин серьезно сомневается в высадке союзников, а что ему хотелось ее высмеять — в особенности высмеять причины предыдущих откладываний высадки.

Суммируя сегодня впечатления того вечера, мне кажется, что я мог бы сделать следующие выводы: Сталин сознательно запугивал югославских руководителей, чтобы ослабить их контакты с Западом, одновременно стараясь подчинить своим интересам их политику, превратить ее в придаток своей западной политики, в особенности в отношениях с Великобританией.

Основываясь на своих идеях и практике и на собственном историческом опыте, он считал надежным только то, что зажато в его кулаке; каждого же, находящегося вне его полицейского контроля, он считал своим потенциальным противником. Течение войны вырвало югославскую революцию из-под его контроля, а власть, которая из нее рождалась, слишком хорошо осознала свои собственные возможности и он не мог ей прямо приказывать. Он это знал и просто делал, что мог — используя антикапиталистические предрассудки югославских руководителей по отношению к западным государствам, пытался привязать этих руководителей к себе и подчинить их политику своей.

Мир, в котором жили советские вожди — а это был и мой мир — постепенно начинал представать передо мною в новом виде: ужасная, непрекращающаяся борьба на всех направлениях. Все обнажалось и концентрировалось на сведении счетов, ко-

торые отличались друг от друга лишь по внешнему виду и где в живых оставался только более сильный и ловкий. И меня, исполненного восхищением к советским вождям, охватывало теперь головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение.

Это был мир, где не было иного выбора, кроме победы или смерти.

Таков был Сталин — творец новой социальной системы.

Прощаясь со Сталиным, я спросил еще раз: нет ли у него замечаний по поводу работы югославской партии. Он ответил:

— Нет. Вы ведь сами лучше знаете, что надо делать.

Я и это, после прибытия на о. Вис, передал Тито и другим из Центрального комитета. А свою московскую поездку резюмировал так: Коминтерна на самом деле больше нет и мы, югославские коммунисты, должны действовать по своему усмотрению — в первую очередь нам следует опираться на собственные силы.

Сталин перед нашим отъездом передал для Тито саблю — подарок Верховного совета. К этому прекрасному и высокому дару я, возвращаясь через Каир, прибавил и свой скромный подарок: шахматы из слоновой кости.

Мне не кажется, что в этом была символика. Но сегодня я думаю, что во мне и тогда, приглушенный, существовал и другой мир, отличный от сталинского.

Из ельника, окружавшего сталинскую дачу, подымаются дымка и заря. Сталин и Молотов жмут мне руку у выхода, утомленные еще одной бессонной ночью. Автомобиль уносит меня в утро и в Москву, еще не проснувшуюся, умытую июньской синевой

и росой. Ко мне возвращается ощущение, охватившее меня, когда я ступил на русскую землю: мир все же не столь велик, если смотреть на него из этой страны. А может быть и не неприступен — со Сталиным, с идеями, которые должны, наконец, открыть человеку истину про общество и про него самого.

Это была красивая мечта — среди войны. Мне тогда не приходило в голову подумать, что из этого было более реальным, да и сегодня я не мог бы сказать, что оказалось более обманчивым.

Люди живут и мечтой и реальностью.

СОМНЕНИЯ

1

Мне наверное не пришлось бы ехать во второй раз в Москву — и снова встречаться со Сталиным — если бы я не стал жертвой своей прямолинейности.

Дело в том, что после прорыва Красной армии в Югославию и освобождения Белграда осенью 1944 года, произошло столько серьезных — одиночных и групповых — выпадов красноармейцев против югославских граждан и военнослужащих, что это для новой власти и коммунистической партии Югославии переросло в политическую проблему.

Югославские коммунисты представляли себе Красную армию идеальной, а в собственных рядах немилосердно расправлялись даже с самыми мелкими грабителями и насильниками. Естественно, что они были поражены происходившим больше, чем рядовые граждане, которые по опыту предков ожидают грабежа и насилий от любой армии. Однако, эта проблема существовала и усложнялась тем, что противники коммунистов использовали выходки красноармейцев для борьбы против неукрепившейся еще власти и против коммунизма вообще. И еще тем, что высшие штабы Красной армии были глухи к жалобам и протестам и создавалось впечатление, что они намеренно смотрят сквозь пальцы на насилия и насильников.

Как только Тито вернулся из Румынии в Белград — одновременно он побывал в Москве и впервые

встречался со Сталиным — надо было решить и этот вопрос.

На совещании у Тито, где кроме Карделя и Ранковича присутствовал и я, решили переговорить с начальником советской миссии, генералом Корнеевым. А чтобы Корнеев воспринял все это как можно серьезнее, договорились, что встречаться с ним будет не один Тито, а мы втроем и еще два выдающихся югославских командующих — генералы Пеко Дапчевич и Коча Попович.

Тито изложил Корнееву проблему в весьма смягченной и вежливой форме и поэтому нас очень удивил его грубый и оскорбительный отказ. Мы Корнеева пригласили как товарища и коммуниста, а он выкрикивал:

— От имени советского правительства я протестую против подобной клеветы на Красную армию, которая...

Напрасны были все наши попытки его убедить — перед нами внезапно оказался разъяренный представитель великой силы и армии, которая «освобождает».

Во время разговора я сказал:

— Трудность состоит еще в том, что наши противники используют это против нас, сравнивая выпады красноармейцев с поведением английских офицеров, которые таких выпадов не совершают.

Особенно грубо и не желая ничего понимать, Корнеев реагировал именно на эту фразу:

— Самым решительным образом протестую против оскорблений, наносимых Красной армии путем сравнения ее с армиями капиталистических стран!

Югославские власти только через некоторое время собрали данные о беззакониях красноармейцев: согласно заявлениям граждан произошел 121 случай

изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством и 1204 случая ограбления с нанесением повреждений — цифры не такие уж малые, если принять во внимание, что Красная армия вошла только в северовосточную часть Югославии. Эти цифры показывают, что югославское руководство обязано было реагировать на эти инциденты как на политическую проблему, тем более серьезную, что она сделалась также предметом внутрипартийной борьбы. Коммунисты эту проблему ощутили и как моральную: неужели это и есть та идеальная Красная армия, которую мы ждали с таким нетерпением?

Встреча с Корнеевым окончилась безрезультатно, хотя и было отмечено, что после нее советские штабы начали строже реагировать на самоволие своих бойцов. А мне товарищи тут же, сразу после ухода Корнеева, одни в более мягкой, а другие в более резкой форме высказали свое неудовольствие, что я произнес эту самую фразу. Мне, право, и в голову не приходило сравнивать советскую армию с британской — у Британии в Белграде была только миссия. Я просто исходил из очевидных фактов, констатировал их и реагировал на политическую проблему, которую усложняло еще и непонимание и упрямство генерала Корнеева. Тем более я был далек от мысли оскорблять Красную армию, которую в то время любил не меньше, чем генерал Корнеев. Конечно, я не мог — в особенности на занимаемом мною посту — оставаться спокойным к насилию над женщинами, которое я всегда считал одним из самых гнусных преступлений, к оскорблению наших бойцов и к грабежу нашего имущества.

Эти мои слова, наряду еще кое с чем, стали причиной первых трений между югославским и совет-

ским руководством. И хотя для обид были и более веские причины — советские руководители и представители чаще всего упоминали именно мои слова. Мимоходом скажу, что без сомнения по этой же причине, советское правительство ни меня, ни некоторых других руководящих членов югославского Центрального комитета не наградило орденами Суворова. По тем же причинам оно обошло и генерала Пеку Дапчевича, так что я и Ранкович, чтобы загладить такое пренебрежение, предложили Тито наградить Дапчевича званием Народного героя. Мои слова несомненно были одной из причин того, что советские агенты в Югославии принялись в начале 1945 года распространять слухи, что я «троцкист». Потом они сами прекратили это — как из-за бессмысленности обвинения, так и в связи с улучшением отношений между СССР и Югославией.

А я вскоре после этого заявления оказался почти в изоляции — но не только потому, что самые близкие товарищи меня особенно осуждали, хотя осуждения, конечно, были и резкие, и не потому, что советские верхи обостряли и раздували инцидент, а в одинаковой мере из-за моих собственных внутренних переживаний.

Дело в том, что я тогда переживал внутренний конфликт, который не может не пережить каждый коммунист, честно и бескорыстно принимающий коммунистические идеи — он рано или поздно убедится в расхождении этих идей с практикой партийных верхов. В моем случае это произошло не столько из-за расхождения между идеалистическими представлениями о Красной армии и поведением ее представителей. Я и сам понимал, что в Красной армии, несмотря на то, что она — армия «бесклассового» об-

щества, «все еще» не может быть полного порядка, что в ней еще должны быть «пережитки прошлого». Внутренние противоречия во мне породили равнодушное, если не сказать одобрительное отношение советского руководства и советских штабов к насилиям, в особенности нежелание их признать — не говоря уже об их возмущении, когда мы на это указывали. Намерения наши были искренними — мы хотели сохранить авторитет Красной армии и Советского Союза, который пропаганда коммунистической партии Югославии создавала в течение многих лет. А на что натолкнулись эти наши добрые намерения? На грубость и отпор, типичные для отношений великой державы с малой, сильного со слабым.

Все это усиливалось и углублялось попытками советских представителей использовать мои, по сути добронамеренные слова, как основание для своей вызывающей позиции по отношению к югославскому руководству.

Что это, почему советские представители не смогли нас понять? Почему мои слова так преувеличены и искажены? Почему их в таком искаженном виде советские представители используют в своих политических целях — утверждая, что югославские руководители неблагодарны Красной армии, которая в решительный момент сыграла главную роль в освобождении столицы Югославии и помогла югославским руководителям закрепиться в ней?

Но на это не было — и на такой базе не могло быть ответа.

Меня, как и многих других, смущали и иные поступки советских представителей. Так, советское командование объявило, что для помощи Белграду оно

дарит большое количество пшеницы. Выяснилось, однако, что на самом деле эта пшеница находилась на складах на югославской территории и что немцы реквизировали ее у югославских крестьян. Советское командование просто считало ее своей военной добычей, как и многое другое. Советская разведка занималась массовой вербовкой русских белоэмигрантов, а также и югославов — даже в самом аппарате Центрального комитета. Против кого, зачем? В секторе агитации и пропаганды, которыми я управлял, тоже остро ощущались трения с советскими представителями. Советская печать систематически изображала в неверном свете и недооценивала борьбу югославских коммунистов, в то время, как советские представители сперва осторожно, а затем все более откровенно требовали подчинения югославской пропаганды советским нуждам, подгонки ее по советским колодкам. Попойки же советских представителей, приобретавшие характер настоящих вакханалий — в которые они пытались вовлечь и югославские верхи — в моих глазах и в глазах многих других, только подтверждали правильность наблюдений о расхождении между советскими идеями и делами, — их этики на словах и аморальности на деле.

Первый контакт между двумя революциями и двумя властями — хотя они и стояли на схожих социальных и идейных основах — не мог не пройти без трений. Но поскольку это происходило в исключительной и замкнутой идеологии, трения не могли в начале проявиться иначе, как в облике моральной дилеммы и сожаления по поводу того, что правоверный центр не понимает добрых намерений малой партии и бедной страны.

А поскольку люди реагируют не только одним сознанием, я вдруг «открыл» неразрывную связь человека с природой — начал ходить на охоту, как в ранней молодости и вдруг заметил, что красота существует не только в партии и революции.

Но огорчения только начинались.

2

Зимой 1944-1945 года в Москву направилась расширенная правительственная делегация, в которой кроме Андрия Хебранга, кооптированного члена ЦК и министра индустрии Арсы Йовановича, начальника Верховного штаба, была и моя тогдашняя супруга Митра, — она мне, кроме политических заявлений советских руководителей, могла сообщить и их личные высказывания, к которым я был особенно чувствителен.

Делегацию как целое и отдельных ее членов беспрерывно упрекали за положение в Югославии и за позиции отдельных югославских руководителей. Советские представители обыкновенно исходили из точных фактов, а затем их раздували и обобщали. Хуже всего было то, что руководитель делегации Хебранг теснейшим образом связался с советскими представителями, передавал им доклады в письменном виде и переносил на членов делегации советские упреки. Причиной такого поведения Хебранга, судя по всему, было его недовольство смещением с должности секретаря коммунистической партии Хорватии, а еще в большей степени — малодушное поведение в свое время в тюрьме, о чем стало известно позже и что он вероятно пытался таким путем замаскировать.

Передача информации советской партии сама по себе тогда не считалась каким-то смертным грехом, потому что никто из югославов не противопоставлял свой Центральный комитет советскому. Более того, от советского Центрального комитета не скрывали данных о положении в югославской партии. Но в случае Хебранга это приобрело тогда уже характер подкопа под югославский Центральный комитет. Так никогда и не узнали, что именно он сообщал. Но его позиция и сообщения отдельных членов делегации позволяли сделать уже тогда безошибочное заключение, что Хебранг писал в советский Центральный комитет, чтобы натравить его на югославский Центральный комитет, и добиться, чтобы в последнем были произведены нужные Хебрангу изменения.

Конечно, все это было облечено в принципиальность и основано на более или менее очевидных упущениях и слабостях югославов. Самое же главное было в следующем: Хебранг считал, что Югославия не должна создавать промышленности и хозяйственных планов отдельно от СССР, в то время, как Центральный комитет полагал, что необходимо тесно сотрудничать с СССР, но сохранять свою независимость.

Окончательный моральный удар этой делегации нанес, несомненно, Сталин. Он пригласил всю делегацию в Кремль и устроил ей обычный пир и представление, какое можно встретить только в Шекспировских драмах.

Он критиковал югославскую армию и метод управления ею. Но непосредственно атаковал только меня. И как! Он с возбуждением говорил о страданиях Красной армии и ужасах, которые ей пришлось пережить, пройдя с боями тысячи километров по опустошенной земле. Он лил слезы, восклицая:

«И эту армию оскорбил никто иной, как Джилас! Джилас, от которого я этого меньше всего бы ожидал! Которого я так тепло принял! Армию, которая не жалела для вас своей крови! Знает ли Джилас, который сам писатель, что такое человеческие страдания и человеческое сердце? Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь кровь и огонь и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?»

Он каждую минуту провозглашал тосты, льстил одним, шутил с другими, подтрунивал над третьими, целовался с моей женой, потому что она сербка и опять лил слезы над лишениями Красной армии и над неблагодарностью югославов.

Он мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами и снова — о геройстве, страданиях и самопожертвовании Красной армии.

Слушая обо всем этом я был прямо потрясен и оглушен.

Но сегодня мне кажется, что Сталин взял на прицел меня не из-за моего «выпада», а в намерении каким-то образом перетянуть меня на свою сторону. На эту мысль его могло навести только мое искреннее восхищение Советским Союзом и его личностью.

Сразу после возвращения в Югославию я написал о встрече со Сталиным статью, которая ему очень понравилась, — советский представитель посоветовал мне только в дальнейших публикациях этой статьи опустить фразу о слишком длинных ногах Сталина и больше подчеркнуть близость между Сталиным и Молотовым. Но в то же время Сталин, который быстро распознавал людей и отличался осо-

бым уменьем использовать человеческие слабости, должен был понять, что он не сможет склонить меня на свою сторону ни перспективой политического возвышения, поскольку я был к этому равнодушен, ни идеологической обработкой — поскольку к советской партии я относился не лучше, чем к югославской. Воздействовать на меня он мог только эмоционально — используя мою искренность и мои увлечения. Этим путем он и шел.

Но моя чувствительность и моя искренность были одновременно и моей сильной стороной — они легко превращались в свою противоположность, когда я встречался с неискренностью и несправедливостью. Поэтому Сталин никогда и не пытался привлечь меня на свою сторону непосредственно, а я, убеждаясь на практике в советской несправедливости и стремлении к гегемонии — освобождался от своей сентиментальности и становился более твердым и решительным.

Сегодня действительно трудно установить, где в этом сталинском представлении была игра, а где искреннее огорчение. Мне лично кажется, что у Сталина и невозможно было отделить одно от другого — у него даже само притворство было настолько спонтанно, что казалось, будто он сам убежден в искренности и правдивости своих слов. Он очень легко приспосабливался к каждому повороту дискуссии, к каждой новой теме и даже к каждому новому человеку.

Итак, делегация возвратилась совсем оглушенной и подавленной.

А моя изоляция после слез Сталина и моей «неблагодарности» по отношению к Красной армии — еще больше усилилась. Но становясь все более оди-

ноким, я не поддавался апатии и все чаще брался за перо и книгу, находя в самом себе разрешение трудностей, в которых оказался.

3

Но жизнь делала свое — отношения между Югославией и Советским Союзом не могли застыть там, где их зафиксировали военные миссии и армии. Связи развивались, отношения становились многогранными, все больше приобретая определенный межгосударственный облик.

В апреле в Советский Союз должна была отправиться делегация для подписания договора о взаимопомощи. Делегацию возглявлял Тито, а сопровождал его министр иностранных дел Шубашич. В делегации были два министра экономики — Б. Андреев и Н. Петрович. В нее включили и меня — вероятно желая путем непосредственного контакта ликвидировать спор вокруг «оскорбления» Красной армии. Тито меня просто определил в делегацию, а поскольку с советской стороны не последовало никаких комментариев, в советский самолет сел и я.

Было начало апреля и самолет из-за непогоды все время бросало. Тито и большинству делегатов и сопровождающих — включая даже летчиков — было дурно. И мне тоже было нехорошо — но по-иному.

С момента, когда я узнал о предстоящей поездке и до самой встречи со Сталиным у меня было неприятное ощущение: я был вроде кающегося, хотя им и не был, да и внутренне мне было не в чем каяться. Вокруг меня в Белграде все упорнее создавалась атмосфера как вокруг человека, который глубоко погряз — «влип» — и которому ничего не

остается, как искупить свою вину, надеясь лишь на великодушие Сталина.

Самолет приближался к Москве, а во мне росло ощущение уже знакомого одиночества. В первый раз я видел, как легко отворачиваются от меня товарищи, соратники, потому что близостью со мной они могли повредить своему положению в партии, попасть под подозрение, что и они «уклонились». Даже в самолете я не мог избавиться от этого. Отношения между мной и Андреевым, с которым меня сблизили участие в борьбе и страдания в тюрьме, где ярче, чем где бы то ни было проявляются характеры и устанавливается контакт между людьми, были всегда шутливыми и открытыми. А сейчас? Он как будто жалел меня, не имея возможности помочь, а я не решался к нему подойти, чтобы не унизиться, а еще больше — чтобы не поставить его в неудобное положение, не создать впечатления, что он со мной солидаризуется. Петровича я хорошо знал со времен моей нелегкой работы и жизни подпольщика — наша близость была главным образом интеллектуальной. Но и с ним я не осмелился начать одну из обычных и бесконечных наших дискуссий о сербской политической истории. Тито же про мое дело не упоминал, как будто его и не было, не высказывал своего мнения, не проявлял ко мне никаких определенных чувств. Но я ощущал, что он, по-своему — по политическим причинам — на моей стороне, уже самим тем, что взял меня с собою и что молчит.

Впервые я переживал конфликт между своей нормальной человеческой совестью — естественным человеческим стремлением к добру и истине и средой, в которой жил, к которой принадлежал, в которой проявлял свою активность — конфликт с движе-

нием, заключенным в тиски абстрактных целей и прикованным к реальным возможностям. Но в моем сознании это проявлялось иначе: как противоречие между желанием улучшить мир и движение, к которому я принадлежу — и непониманием тех, от кого зависят решения.

Опасения росли с каждой минутой, с каждым метром, приближавшим меня к Москве.

Подо мною бежала земля, пустая и безлюдная, черная после только что стаявшего снега, изрытая потоками, а во многих местах и бомбами. И небо было облачное, сумрачное, непроницаемое. Не было ни неба, ни земли — я двигался по нереальному миру, он мне, может быть снился, но я ощущал его более реально, чем все, до тех пор пережитое. Я летел, качаясь между небом и землей — между своей совестью и делами, между стремлениями и возможностями. В моей памяти осталась только эта нереальная и мучительная качка. Не было прежних славянских увлечений, почти не было революционных увлечений, как во время первой встречи с русской, советской землей и ее вождем.

А тут еще страдания Тито. Измученный, зеленый, он с предельным напряжением воли произнес приветственную речь и совершил церемонии.

Молотов, возглавлявший прием, холодно пожал мне руку, даже не улыбнувшись, чтобы показать, что мы знакомы. Было неприятно и то, что Тито отвезли в специальную дачу, а нас, остальных, в гостиницу «Метрополь». Соблазн и искушения все усиливались.

Они даже приобрели формы целевой акции.

На следующий день или через день в моей комнате зазвонил телефон. Послышался обольстительный женский голос:

— Здесь Катя.

— Какая Катя? — спрашиваю.

— Ну, Катя, как будто вы меня не помните? Я хотела бы с вами встретиться, я обязательно должна с вами встретиться!

Напряженно думаю: «Катя... Катя... нет, я не знаком ни с одной» — и сразу подозрение — советская разведка устраивает мне ловушку, чтобы потом шантажировать: в коммунистической партии Югославии строго следят за личной моралью. Для меня не было ни новым, ни странным, что «социалистическая» Москва, как и любой миллионный город, кишит незарегистрированными проститутками. Но я прекрасно знал, что с иностранцами высокого ранга — о которых здесь заботятся и которых охраняют лучше, чем где-либо в мире — они могут связаться только по желанию разведки. Я делаю, что сделал бы и без этого — говорю спокойно и коротко:

— Оставьте меня в покое! — и опускаю трубку.

Я думал, что этот незамысловатый и грязный прием применили только ко мне. Но поскольку я занимал руководящее положение в партии, я счел своей обязанностью проверить, не было ли чего подобного с Петровичем и Андреевым. Хотелось мне и пожаловаться им, как людям. Да, им также звонила, но не Катя, а Наташа или Вава! Я им все разъяснил и почти приказал не входить ни с кем в контакт.

А у самого смешаные чувства — облегчение, что прицел взят не только на меня, и одновременно усиление тревоги: почему, зачем все это?

Мне даже в голову не приходило спросить у д-ра Шубашича, не пытались ли подойти и к нему. Он не коммунист и мне неудобно раскрывать перед ним в неприглядном виде Советский Союз и его методы — тем более, что они направлены против коммунистов.

Но в то же время я был убежден, что Шубашичу никакая Катя не звонила.

Я еще не был способен сделать вывод, что именно коммунисты и есть цель и средство, при помощи которого должна быть обеспечена советская гегемония в странах Восточной Европы. Но я уже подозревал это, ужасаясь таким методам и восставая против превращения моей личности в орудие.

Тогда я еще был способен верить, что могу одновременно быть и коммунистом и свободным человеком.

4

Вокруг договора о союзе между Югославией и СССР ничего значительного не произошло — договор был шаблонным и моя роль сводилась к проверке перевода.

Подписание происходило в Кремле, 11 апреля вечером, в очень узком официальном кругу. Из общественности — если это выражение допустимо для тамошней обстановки, были только советские киносъемщики.

Живописный эпизод произошел, когда Сталин с бокалом в руке обратился к официанту, предложив ему чокнуться. Официант стал конфузиться, но Сталин спросил:

— Ты что, не хочешь выпить за советско-югославскую дружбу? — и тот послушно взял бокал и выпил до дна.

Во всей сцене чувствовалась демагогия и еще больше — гротеск. Но все блаженно заулыбались, как бы видя в этом доказательство, что Сталин не гнушается простого народа, что он близок к нему.

Здесь я впервые снова встретился со Сталиным.

На его лице не было предупредительности, хотя не было и молотовской ледяной неподвижности и фальшивой любезности. Сталин не сказал мне ни одного слова. Спор о поведении красноармейцев очевидно не был ни забыт, ни прощен — я продолжал гореть в огне искупления.

Сталин вел себя так и на ужине в более узком кругу, в Кремле.

После ужина мы смотрели фильмы. Сталин сказал, что ему надоела стрельба — показывали не военный, а колхозный фильм с плоским юмором. Во время фильма Сталин делал замечания, реагировал на ход действия примерно так, как на это делают необразованные люди, принимающие художественную реальность за подлинную. Второй фильм был довоенный, на военную тему: «Если завтра война...» В этом фильме война ведется с применением ядовитых газов, а в тылу агрессоров-немцев вспыхивают восстания пролетариата. После окончания фильма Сталин спокойно заметил:

— Разница с тем, как это было на самом деле, небольшая — не было только ядовитых газов и не восстал немецкий пролетариат.

Все устали от здравиц, от еды, от фильмов. Сталин снова молча пожал мне руку, но я чувствовал себя уже спокойнее и беззаботней, хотя и не знал почему, Может быть из-за сносной атмосферы? Или потому, что во мне созрели какие-то решения и я успокоился? Вероятно и потому и поэтому. Во всяком случае — жить можно и без сталинской любви.

Но через день или два, на торжественном обеде в Екатерининском зале Кремлевского дворца, Сталин оттаял — он вообще оживал и приходил в хорошее настроение, когда ел и пил.

По тогдашнему советскому церемониалу Тито до-

сталось место слева от Сталина и справа от Калинина, тогдашнего председателя Верховного совета. Мне — слева от Калинина. Молотов и Шубашич сидели напротив Сталина и Тито, а все остальные югославские и советские деятели — вокруг.

Атмосфера была неестественной и сдержанной: присутствующие, кроме д-ра Шубашича, были коммунистами, а обращались друг к другу во время тостов — «господин» и точно придерживались международного протокола, как будто это встреча представителей различных систем и идеологий.

После официальных речей и протокола мы обычно общались как друзья, то есть, как близкие люди, принадлежащие одному движению с одинаковыми целями. Это противоречие между формализмом и действительностью было резко ощутимо — отношения между советскими и югославскими коммунистами еще не испортились, их еще не подорвало советское стремление к гегемонии и борьба за престиж в коммунистическом мире. Но жизнь не подчиняется желаниям и схемам и навязывает формы, которые никто не может предугадать.

Советский Союз и западные союзники переживали как раз медовый военный месяц своих взаимоотношений и советское правительство хотело таким путем избежать упреков, что к Югославии оно относится не как к независимому государству, потому что это коммунистическая страна. Позже, когда оно укрепилось в Восточной Европе, советское правительство стремилось устранить протокольные и другие формальности как «буржуазные» и «националистические» предрассудки.

Сталин нарушил официальную атмосферу — он один мог это сделать, не рискуя подвергнуться критике за «ошибку». Он просто встал, поднял бокал и,

обратившись к Тито, назвал его «товарищ», добавив, что не хочет называть его «господином». Это снова всех сблизило и оживило атмосферу. Радостно заулыбался и д-р Шубашич, хотя трудно было поверить, что он делал это искренне — впрочем притворство не было несвойственно этому политику без идей и каких бы то ни было устойчивых принципов. Сталин начал шутить — острить и поддевать через стол, весело ворчать. Оживление не прекращалось.

Старик Калинин, который был почти слеп, с трудом находил бокал, посуду, хлеб и я ему все время старательно помогал. Тито за день или за два до этого был у него на официальном приеме и сказал мне, что старик еще не совсем сенилен. Но по подробностям, на которые обратил внимание Тито и по замечаниям Калинина на банкете, можно было скорее заключить обратное.

Сталин, конечно, знал о дряхлости Калинина, и неуклюже подшутил над ним, когда тот заинтересовался югославскими сигаретами Тито.

— Не бери — это капиталистические сигареты! — сказал Сталин и Калинин в смятении выронил сигарету из дрожащих пальцев.

Сталин засмеялся, став похожим на фавна. Через несколько минут все тот же Сталин поднял тост в честь «нашего президента» Калинина — но это были пустые громкие слова в адрес человека, уже ничего, кроме пустой фигуры, собою не представляющего.

Здесь, в более широком официальном окружении обожествление Сталина ощущалось сильнее и непосредственней.

Сегодня я мог бы сказать: обожествление или как теперь говорится, «культ личности» Сталина, создавал не только он сам, а в такой же, если не в боль-

шей степени, — сталинское окружение и бюрократия, которым такой вождь был необходим.

Отношения, конечно, изменялись: превращенный в божество, Сталин со временем стал настолько силен, что перестал обращать внимание на изменения в нуждах и потребностях тех, кто его возвеличил.

Маленький неуклюжий человечек шествовал по золотым и малахитовым царским палатам, перед ним открывался путь, его провожали горящие восторженные взгляды, слух придворных напрягался, чтобы запомнить каждое его слово. А он, уверенный в самом себе и в своем деле, как будто не обращал на все это внимания. Его страна лежала в развалинах, голодная, изможденная. А его армии и отягченные жиром и орденами, опьяненные водкой и победой, маршалы, уже затоптали половину Европы. Он был уверен, что в следующем раунде они затопчут и вторую половину. Сталин знал, что он — одна из наиболее деспотических личностей человеческой истории. Но его это нимало не беспокоило: он был уверен, что вершит суд истории. Ничто не отягощало его совесть, несмотря на миллионы уничтоженных от его имени и по его распоряжению, несмотря на тысячи ближайших сотрудников, которых он истребил как предателей, когда они усомнились в том, что он ведет страну и народ к благосостоянию, равенству и свободе. Борьба была опасной, долгой и все более коварной, по мере того, как противники становились малочисленнее и слабее. Но он победил, а практика — единственный критерий истины! И что такое совесть? Существует ли она вообще? Для нее нет места в его философии и практике. И человек, между прочим — результат производственных сил.

Поэты им вдохновляются, оркестры гремят кантатами о нем, философы и институты пишут тома о

произнесенных им фразах, а казнимые мученики умирают, выкрикивая его имя. Сейчас он победитель самой большой войны в истории и его абсолютная власть над шестой частью земного шара неудержимо ширится дальше. Поэтому он верит, что в его обществе нет противоречий и что оно во всем превосходит любое другое общество.

И он шутит со своими придворными — «товарищами». Он шутит не только из царского великодушия. Царственность лишь в том, как он это делает: он никогда не шутит над самим собой. Он шутит потому, что ему нравится спускаться с олимпийских высот — показать, что он живой человек среди людей, время от времени напомнить, что личность без коллектива — ничто.

И я увлечен Сталиным и его шутками. Но краешек мозга и мое моральное существо трезвы и взволнованы: я замечаю и уродливое и не могу помириться с тем, как Сталин шутит — и как он сознательно не хочет сказать мне человеческого, товарищеского слова.

5

И все же я был приятно удивлен, когда на интимный ужин на даче Сталина пригласили и меня. Д-р Шубашич, разумеется, об этом даже не подозревал — из югославов там были только мы, югославские министры-коммунисты, а с советской стороны ближайшие сотрудники Сталина: Маленков, Булганин, генерал Антонов, Берия и, конечно, Молотов.

Как обычно, около десяти часов вечера мы собрались за столом у Сталина — я приехал вместе с Тито. Во главе стола сел Берия, справа Маленков, затем я и Молотов, потом Андреев и Петрович, а

слева Сталин, Тито, Булганин и генерал Антонов, заместитель начальника Генерального штаба.

Берия был тоже небольшого роста — в Политбюро у Сталина наверное и не было людей выше его. Берия тоже был полный, зеленовато-бледный, с мягкими влажными ладонями. Когда я увидел его четырехугольные губы и жабий взгляд сквозь пенсне, меня как током ударило — настолько он был похож на Вуйковича, одного из начальников белградской королевской полиции, особой специальностью которого было мучить коммунистов. Только усилием воли я отогнал от себя неприятное сравнение, напрашивавшееся так назойливо еще потому, что сходство было не только внешнее, а и в выражении — смесь самоуверенности, насмешливости, чиновничьего раболепия и осторожности. Берия был грузин, как и Сталин, но это нельзя было заключить по его внешности — грузины обычно костистые и брюнеты. Он и тут был неопределенным — его можно было принять за славянина или литовца, а скорее всего за какую-то смесь.

Маленков был еще более низкорослым и полным, но типичным русским с монгольской примесью — немного рыхлый брюнет с выдающимися скулами. Он казался замкнутым, внимательным человеком без ярко выраженного характера. Под слоями и буграми жира как будто двигался еще один человек, живой и находчивый, с умными и внимательными черными глазами. В течение долгого времени было известно, что он неофициальный заместитель Сталина по партийным делам. Почти всё, связанное с организацией партии, возвышением и снятием партработников находилось в его руках. Он изобрел «номенклатурные списки» кадров — подробные биографии и автобиографии всех членов и кандидатов многомиллионной

партии, которые хранились и систематически обрабатывались в Москве. Я использовал встречу, чтобы попросить у него произведение Сталина «Об оппозиции», которое было изъято из открытого употребления из-за содержащихся в нем многочисленных цитат Троцкого, Бухарина и других. На следующий день я получил подержанный экземпляр — он и сейчас в моей библиотеке.

Булганин был в генеральской форме. Крупный, красивый и типично русский, со старинной бородкой и весьма сдержанный в выражениях. Генерал Антонов был еще молод — красивый и стройный брюнет, в разговор он вмешивался только когда дело его касалось.

Очутившись лицом к лицу со Сталиным, я вдруг почувствовал уверенность в себе, хотя он ко мне и здесь долго не обращался.

Только когда атмосфера оживилась благодаря напиткам, тостам и шуткам, Сталин посчитал, что наступило время покончить распрю со мной. Он сделал это полушутливым образом: налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.

— Нет, нет — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня — именно за Красную армию! Что, не хотите выпить за Красную армию?

Разумеется, я выпил, хотя у Сталина я избегал пить что-либо, кроме пива, потому что я не люблю алкоголь, и потому, что пьянство не вязалось с моими взглядами, хотя я никогда не был и проповедником трезвости.

Затем Сталин спросил — что там было с Красной армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную армию, а хотел указать на ошибки

некоторых ее служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.

Сталин перебил:

— Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай. Майор летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: «Эх ты, тыловая крыса!» — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного командующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьет хорошо — все остальное второстепенно.

Немного позже, после возвращения из Москвы я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии, советские солдаты, в особенности танкисты, давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях. Он ответил: «Мы читаем нашим

бойцам слишком много лекций — пусть и они проявляют инициативу!»

Сталин спросил меня:

— А генерал Корнеев, начальник нашей миссии, что он за человек?

Я не хотел говорить о Корнееве и о его миссии что-либо дурное, хотя сказать можно было многое. Сталин продолжал:

— Он, бедняга, не глуп, но он пьяница, неизлечимый пьяница!

После этого Сталин начал шутить по поводу того, что я пил пиво, которое я, кстати, тоже не люблю:

— А Джилас пьет пиво, как немец, как немец — он немец, ей-богу, немец.

Мне эта шутка пришлась не очень по вкусу: в то время немцы — даже и то небольшое количество коммунистов-эмигрантов на нашей стороне — котировались в Москве ниже всех прочих, но я принял ее не сердясь и без внутреннего возмущения.

Этим, как казалось, спор вокруг Красной армии был исчерпан. Отношение Сталина ко мне стало сердечным, как прежде.

Так это продолжалось до конфликта между югославским и советским ЦК в 1948 году, когда Молотов и Сталин в своих письмах снова использовали и извратили этот самый спор и «оскорбления», которые я нанес Красной армии.

Сталин намеренно — одновременно и шутливо и зло — поддразнивал Тито: плохо отзывался о югославской и хорошо о болгарской армии. Недавно, прошедшей зимой, югославские части, пополненные свежемобилизованными новобранцами, впервые участвовали в серьезных регулярных боевых операциях и терпели неудачи. Сталин, очевидно, имевший обо всем точные сведения, язвил:

— Болгарская армия лучше югославской. У болгар были недостатки и враги в армии. Но они расстреляли десяток-другой — и сейчас все в порядке. Болгарская армия очень хороша — обученная, дисциплинированная. А ваша, югославская — все еще партизаны, неспособные к серьезным фронтовым сражениям. Один немецкий полк зимой разогнал вашу дивизию! Полк — дивизию!

Немного погодя Сталин предложил тост за югославскую армию, не забыв при этом прибавить:

— Но за такую, которая будет хорошо драться и на равнине!

Тито воздерживался от реакций на замечания Сталина. Когда Сталин отпускал какую-нибудь остроту по нашему адресу, Тито со сдержанной улыбкой молча поглядывал на меня, а я его взгляд встречал с солидарностью и симпатией. Но когда Сталин сказал, что болгарская армия лучше югославской, Тито не выдержал и воскликнул, что югославская армия быстро устранит свои недостатки.

В отношениях между Сталиным и Тито было что-то особое, недосказанное — как будто между ними существовали какие-то взаимные обиды, но ни один, ни другой по каким-то своим причинам их не высказывали. Сталин следил за тем, чтобы никак не обидеть лично Тито, но одновременно мимоходом придирался к положению в Югославии. Тито же относился к Сталину с уважением, как к старшему, но чувствовалось, что он дает отпор, в особенности сталинским упрекам по поводу положения в Югославии.

В какой-то момент Тито сказал, что в социализме существуют новые явления и что социализм проявляет себя сейчас по-иному, чем прежде, на что Сталин заявил:

— Сегодня социализм возможен и при английской монархии. Революция нужна теперь не повсюду. Тут недавно у меня была делегация британских лейбористов и мы говорили как раз об этом. Да, есть много нового. Да, даже и при английском короле возможен социализм.

Как известно, Сталин никогда открыто не становился на такую точку зрения. Британские лейбористы вскоре после этого получили большинство на выборах и национализировали свыше 20% промышленности. Но все-таки Сталин никогда не признал эти меры социалистическими и не назвал лейбористов социалистами. Я думаю, что он не сделал этого главным образом из-за несогласия и столкновений с лейбористским правительством во внешней политике.

Во время разговора об этом, я сказал, что в Югославии в сущности советская власть — все ключевые позиции в руках коммунистической партии и никакой серьезной оппозиционной партии нет. Но Сталин с этим не согласился:

— Нет, у вас не советская власть — у вас нечто среднее между Францией де Голля и Советским Союзом.

Тито добавил, что в Югославии происходит нечто новое. Но дискуссия осталась неоконченной.

Я внутренне не согласился с точкой зрения Сталина и думаю, что мое мнение не отличалось от мнения Тито.

Сталин изложил свою точку зрения и на существенную особенность идущей войны.

— В этой войне не так как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, и свою социальную систему. Иначе и быть не может.

Он без подробных обоснований изложил и суть своей панславистской политики:

— Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет! — повторял он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение следующих пятидесяти лет. Но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна, с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией — лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины — никто пальцем не шевельнет.

В какой-то момент он встал, подтянул брюки, как бы готовясь к борьбе или кулачному бою и почти в упоении воскликнул:

— Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова!

Что-то жуткое было в его словах: ужасная война еще шла. Но импонировала его уверенность в выборе направления, по которому надо идти, сознание неизбежного будущего, которое предстоит миру, где он живет и движению, которое он возглавляет.

Все остальное, что он сказал в тот вечер, едва ли стоило запоминать — много ели, еще больше пили и поднимали бесчисленные и бессмысленные тосты.

Молотов рассказал, как Сталин подшутил над Черчиллем: Сталин поднял тост за разведчиков и службу разведки, намекая на неуспех Черчилля в Галлиполи в первую мировую войну, причиной которого была недостаточная осведомленность британцев. Но он не без удовольствия упомянул и тонкое

остроумие Черчилля. В Москве, под бокал хорошего вина, Черчилль сказал, что заслуживает высший советский орден и величайшую благодарность Красной армии, потому что в свое время интервенцией в Архангельске он научил ее хорошо драться. Вообще можно было заметить, что Черчилль, хотя они его и не любили, оставил на советских вождей весьма сильное впечатление — дальновидный и опасный «буржуазный государственный деятель».

Возвращаясь на свою дачу, Тито, тоже не переносивший больших количеств алкоголя, заметил в автомобиле:

— Не знаю, что за черт с этими русскими, что они так пьют — прямо какое-то разложение!

Я конечно с ним согласился, в который раз напрасно пытаясь уяснить себе, почему верхи советского общества так отчаянно и систематически пьют.

На обратном пути в город из дачи, в которой жил Тито, я подытожил опыт этой ночи, во время которой ничего особенного не произошло: спорных вопросов нет, но отдаление между нами как бы увеличилось — все спорные вопросы разрешены по политическим причинам, как неизбежные в отношениях между независимыми государствами.

Один вечер мы провели и у Димитрова, — чтобы как-то его заполнить, он пригласил двух или трех советских актеров, которые выступали с короткими отрывками.

Естественно, шел разговор о будущем объединении Болгарии и Югославии, но короткий и в очень общих чертах. Тито и Димитров обменивались воспоминаниями из времен Коминтерна. Вообще это была скорее дружеская, чем политическая встреча.

Димитров был в то время еще и одинок, потому

что вся болгарская эмиграция давно уже отправилась в Болгарию — следом за Красной армией.

В Димитрове ощущались усталость и безволие. Причины этого, во всяком случае часть из них, нам были известны, но вслух об этом никто не говорил. Хотя Болгария была освобождена, Сталин не разрешал Димитрову туда возвращаться, утверждая, что время для этого еще не наступило — западные правительства его возвращение восприняли бы как открытый курс на введение в Болгарии коммунизма. Как будто этот курс и без того не был очевиден! Об этом зашел разговор на ужине у Сталина. Неопределенно подмигнувши, Сталин сказал:

— Для Димитрова в Болгарии еще не пришло время — ему и здесь хорошо.

И хотя этого ничем нельзя было доказать, уже тогда возникли подозрения: Сталин, пока сам не наведет порядка в Болгарии, будет препятствовать возвращению туда Димитрова!

Наши сомнения еще не превратились в уверенность, что Советский Союз стремится к гегемонии, хотя мы это и ощущали. Мы поневоле соглашались с мнимыми опасениями Сталина, как бы Димитров не повернул Болгарию слишком быстро влево.

Но и этого было достаточно — для начала.

Это вызывало ряд вопросов: Сталин, конечно, гений, но и Димитров не простак — откуда Сталину лучше Димитрова знать, что следует делать в Болгарии? Разве задержание Димитрова в Москве против его воли не подрывает его авторитета среди болгарских коммунистов в болгарском народе? И вообще, к чему эта сложная игра вокруг его возвращения, о которой русские никому, даже самому Димитрову, ничего не говорят?

В политике больше, чем где-либо, все начинается с морального отталкивания и сомнений в добрых намерениях.

6

Мы возвращались через Киев и по взаимному желанию нашего и советского правительства остановились на три дня, чтобы нанести визит украинскому правительству.

Секретарем украинской партии и председателем правительства был Никита Хрущев, а его наркомом иностранных дел Мануильский. Они нас встретили и с ними мы провели все три дня.

Тогда, в 1945 году, еще шла война и можно было выражать кое-какие желания — Хрущев и Мануильский запрашивали: не могла бы Украина установить дипломатические связи с «народными демократиями»?

Но из этого ничего не вышло — Сталин вскоре и сам натолкнулся в «народных демократиях» на сопротивление, так что ему даже в голову не могло придти укреплять самостоятельность УССР. А краснобай, живой старичек Мануильский — министр без министерства — еще два-три года пустословил в Объединенных нациях, чтобы потом внезапно исчезнуть и оттуда и утонуть в безымянной массе жертв сталинской или чьей-то другой злой воли.

Совсем иной была судьба Хрущева. Но о ней в тот момент никто не мог даже догадываться.

Он уже тогда — с 1939 года — был в высшем политическом руководстве, хотя считалось, что он не так близок к Сталину, как Молотов или Маленков или даже Каганович. На советских верхах он считался очень ловким практиком, с большим талантом

в экономических и организационных делах — но как оратор или автор был совершенно неизвестен. На руководящие посты Украины он выдвинулся после чисток середины тридцатых годов, но какое он в них принимал участие, мне совершенно не известно — впрочем тогда меня это и не интересовало. Зато хорошо известно, как в сталинской России вообще выдвигались: нужна была решительность и изворотливость в кровавых «антикулацких» и «антипартийных» кампаниях. В особенности на Украине, где к упомянутым «смертным грехам» добавлялся еще и «национализм».

Карьера Хрущева, хотя он выдвинулся еще сравнительно молодым, не была необычной для советских условий: как работник он проходил школы, политические и иные и поднимался по партийным ступенькам с помощью преданности, ловкости и ума. Он, как большинство руководства, был из нового, послереволюционного, сталинского, поколения партийных и советских работников. Война застала его на наивысшем посту Украины. Но когда Красная армия вынуждена была с Украины отступить, он получил в ней высокую, но не самую высокую политическую должность — он все еще носил форму генерал-лейтенанта, вернувшись после отступления немцев на место хозяина партии и правительства в Киеве.

Мы слыхали, что по рождению он был не украинцем, а русским. Но об этом молчали, избегал говорить на эту тему и он сам, так как было неудобно, что на Украине даже председатель правительства не украинец! Было действительно странно для нас, коммунистов, способных оправдать и объяснять все, что могло бы испортить идеальную картину, изображающую нас самих, что между украинцами, нации раз-

мерами превышающей французскую и кое в чем более культурной, чем русская, не нашлось личности на место председателя правительства.

И от нас нельзя было скрыть, что украинцы часто покидали Красную армию как только немцы занимали их родные места — после того, как немцев выбили, в Красную армию было мобилизовано два с половиной миллиона украинцев. Против украинских националистов все еще велись небольшие операции — одной из их жертв пал талантливый русский генерал Ватутин, — и нас не могло удовлетворить объяснение, что все это — только последствие живучего украинского национализма. Напрашивался вопрос: а откуда этот национализм, если нации в СССР действительно равноправны?

Смущало и удивляло явное русифицирование общественной жизни — в театре говорили по-русски, некоторые газеты выходили на русском языке.

Но мы были далеки от мысли обвинять в этом или в чем-либо другом предупредительного хозяина Н. С. Хрущева, который, как хороший коммунист, мог лишь выполнять распоряжения своей партии, ленинского ЦК и вождя и учителя И. В. Сталина.

Все советские руководители отличались практичностью, а в своем коммунистическом окружении часто и непосредственностью — Н. С. Хрущев и в том и в другом среди них выделялся.

Ни тогда, ни сегодня — после того, как я внимательно прочел его выступления — у меня не создалось впечатления, что его знания выходят за пределы русской классической литературы, а его теоретические познания превышают уровень средних партийных школ. Но кроме этих поверхностных, набранных на различных курсах знаний, гораздо важнее те, которые он приобрел как самоучка, неустан-

ной работой над собой и еще больше на опыте живой и разносторонней практики. Количество и характер этих знаний определить невозможно, потому что поражает как его знание некоторых малоизвестных подробностей, так и незнание некоторых элементарных истин. Его память превосходна, а способ выражения живой и образный.

В отличие от других советских вождей он отличался необузданной говорливостью и хотя он, как и все остальные, охотно употреблял народные пословицы и изречения — это был тогда такой стиль для доказательства связи с народом — у него это звучало не так фальшиво из-за его и без того простого и естественного поведения и речи.

И он обладал чувством юмора. Но в отличие от Сталина, юмор которого был главным образом интеллектуальный и потому неуклюжий и циничный — юмор Хрущева был типично народным и потому зачастую вульгарным, но живым и неисчерпаемым. Сейчас, когда он на вершине власти и на него смотрит весь мир, видно, что он следит за своим поведением и выражениями, но в основе своей он не изменился и в нынешнем хозяине советского государства не трудно узнать человека из народных низов. Следует добавить, что он меньше, чем любой из коммунистических самоучек и недоучек страдает комплексом малоценности. Он, меньше, чем кто-либо из них ощущает потребность прикрыть внешним блеском и общими местами свое невежество и недостатки. Банальности, которые он в таком количестве излагает, указывают или на подлинное невежество, или на вызубренные марксистские схемы — но излагает он их непосредственно и убежденно. Его язык и способ выражения доступен более широкому кругу слушателей, чем тот, к которому обращался Ста-

лин, хотя Сталин обращался к той же самой, партийной, публике.

В не новой и вовсе не отутюженной генеральской форме, он был единственным из советских руководителей, кто входил в мелочи, в ежедневную работу рядовых коммунистов и граждан. Конечно, он это делал не для того, чтобы поколебать основы, а наоборот, чтобы их укрепить — чтобы усовершенствовать существующее положение. Но он узнавал и исправлял, в то время, как другие отдавали распоряжения из кабинетов, в которых принимали и отчеты.

Никто из советских руководителей не ездил в колхозы, а если случайно ездил, так только ради пирушек и парада. Хрущев же ездил с нами в колхоз и, твердо веря в правильность колхозной системы, чокался с колхозниками громадными стаканами водки. Но одновременно он осмотрел парники, заглянул в свинарник и начал обсуждать практические вопросы. По дороге назад в Киев он все время возвращался к неоконченной дискуссии в колхозе и открыто говорил о недостатках.

Необыкновенные практические его способности в больших масштабах мы ощутили на заседании хозяйственных ведомств украинского правительства — его комиссары, в отличие от югославских министров, отлично разбирались в проблемах и, что еще важнее, реальнее оценивали возможности.

Небольшого роста, толстый, откормленный, но живой и подвижной, он был как бы вырублен из одного куска. Он почти заглатывал большие количества еды — как будто берег свою искусственную стальную челюсть. Но в то время, как Сталину и его окружению было присуще скорее гурманство, если не прямой культ еды, то Хрущеву, как мне показа-

лось, почти безразлично, что он есть и что самое важное для него, как для каждого переутомленного работой человека, — просто хорошо наесться. Конечно, если у него такая возможность есть. И его стол был богатым — государственным, но безличным. Хрущев не гурман, хотя ест не меньше, а пьет даже больше Сталина.

Он чрезвычайно витален и, как все практики, обладает большой способностью приспосабливаться. Я думаю, что он не стал бы очень церемониться в выборе средств, если бы это было ему практически выгодно. Но как все демагоги из народа, которые часто и сами начинают верить в то, что говорят, он с легкостью отрекся бы от невыгодных методов и был бы готов объяснить это моральными причинами и самыми высокими идеалами. Он любит пословицу: когда драка — дубину не выбирают. Эта пословица оправдывает для него дубину и тогда, когда драки нет.

Все, что я здесь сказал, нисколько не отвечает тому, что надо было бы сказать о Хрущеве сегодня. Но я излагаю свои прежние впечатления и только мимоходом — нынешние размышления.

Тогда я не заметил у Хрущева никакого возмущения Сталиным или Молотовым. О Сталине он говорил с почтением и подчеркивал свою близость с ним. Он рассказал, как Сталин, накануне немецкого нападения, сказал ему из Москвы по телефону, что надо быть осторожнее, так как есть данные, что немцы могут завтра — 22 июня — начать операции. Сообщаю это просто как факт, а не для того, чтобы опровергать слова Хрущева о том, что в неожиданности немецкого нападения виновен Сталин. Эта неожиданность — последствие ошибочных политических оценок Сталина.

Все же в Киеве ощущалась свежесть — благодаря невоздержанности и практичности Хрущева, восторженности Мануильского, красоте самого города, который бесконечными горизонтами и возвышенностями над громадной мутной рекой напоминал Белград.

Но если Хрущев произвел впечатление твердости, самоуверенности и реализма, а Киев — продуманной и культивированной красоты, то Украина осталась в памяти как безличие, усталость и безнадежность.

Чем глубже я проникал в советскую действительность, тем больше умножались мои сомнения. Примирить эту действительность с моей — человеческой — совестью, становилось делом все более безнадежным.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

1

В третий раз я встретился со Сталиным в начале 1948 года. Эта встреча была самой значительной, потому что состоялась накануне конфликта между советским и югославским руководством.

Перед встречей произошли важные события и перемены в югославско-советских отношениях.

Отношения между Советским Союзом и Западом уже начали приобретать характер холодной войны и контуры двух блоков.

Ключевыми событиями здесь, по-моему, были советский отказ от плана Маршалла, гражданская война в Греции и создание Информационного бюро некоторых коммунистических партий — Коминформа.

Югославия и Советский Союз были единственными восточноевропейскими странами, высказавшимися решительно против плана Маршалла — первая главным образом из-за революционного догматизма, а вторая из страха, что американская экономическая помощь потрясет империю, только что освоенную при помощи военной силы.

Я, как югославский делегат на съезде коммунистической партии Франции в Штрасбурге, оказался в Париже как раз во время совещания Молотова с представителями западных держав по поводу плана Маршалла. Молотов меня принял в советском посольстве и мы достигли согласия в вопросе бойкота плана Маршалла и критики французской партии с ее так называемой «национальной линией». Молото-

ва особенно интересовали мои впечатления о съезде. О журнале «Новая демократия», который, под редакцией Дюкло, должен был выражать единство взглядов коммунистических партий, Молотов сказал:

— Это не то, что было нужно и не то, что нужно сейчас.

В отношении же плана Маршалла Молотов колебался и считал, что может быть следовало согласиться на созыв совещания, в котором приняли бы участие и восточные страны, — но только с пропагандными целями, чтобы использовать трибуну, а затем, в подходящий момент покинуть совещание. Я не был воодушевлен таким вариантом, хотя если бы русские настаивали, то согласился бы и с ним — такова была точка зрения и правительства моей страны. Но Молотов получил указание от Политбюро из Москвы не соглашаться даже на созыв совещания.

Сразу после моего возвращения в Белград в Москве должно было происходить совещание восточноевропейских стран для выработки точки зрения по отношению к плану Маршалла. Меня назначили представлять Югославию. Подлинной целью этого совещания должен был быть коллективный нажим на Чехословакию, чье правительство было не против участия в плане Маршалла. Советский самолет уже ждал на белградском аэродроме, но из Москвы пришла телеграмма, что потребность в совещании отпадает — правительство Чехословакии отказалось от своей первоначальной точки зрения.

И Коминформ был создан по той же причине, — чтобы согласовать точки зрения, отличающиеся от советских. Идея о необходимости создания какого-то органа, который обеспечил бы координацию и обмен мнениями между коммунистическими партиями,

обсуждался уже летом 1946 года — на эту тему говорили Сталин, Тито и Димитров. Но ее осуществление откладывалось по различным причинам — главным образом из-за того, что от советских вождей зависило определение удобного для этого момента. Он наступил осенью 1947 года — несомненно в связи с советским отказом от плана Маршалла и укреплением ведущей роли Советского Союза в Восточной Европе.

На учредительном совещании, в Западной Польше, на бывшей немецкой территории, решительно настаивали на создании Коминформа только две делегации — югославская и советская. Гомулка был против, осторожно но недвусмысленно говоря о «польском пути в социализм».

Здесь, в виде курьеза, стоит упомянуть, что это Сталин придумал органу коминформа название «За прочный мир — за народную демократию», считая, что западная пропаганда вынуждена будет повторять эти лозунги каждый раз, когда будет что-то цитировать из журнала. Но надежды Сталина не сбылись: название было громоздко, откровенно пропагандно и на Западе, как назло, чаще всего писали просто «орган Коминформа». Сталин также окончательно определил местопребывание Коминформа. Делегаты решили было, что Коминформ будет в Праге. Представитель Чехословакии Сланский вечером умчался на автомобиле в Прагу, чтобы проконсультироваться об этом с Готвальдом. Но ночью Жданов и Маленков говорили со Сталиным — без прямого провода с Москвой невозможно было обойтись даже в этой заброшенной и далекой гостинице. И хотя Готвальд нехотя согласился на Прагу, Сталин распорядился, чтобы Коминформ был в Белграде.

Двойной процесс развивался и в глубине югославско-советских отношений: на вид полное политическое, а тем более идеологическое единодушие, а на самом деле различные оценки и действия.

Когда расширенная делегация высшего югославского руководства, — Тито, Ранкович, Кидрич, Нешкович — была летом 1946 года в Москве, отношения между обоими руководствами приобрели более чем сердечный вид. Сталин обнимал Тито, предсказывал ему будущую роль в европейском масштабе, относясь с явным пренебрежением к болгарам и Димитрову. Но вскоре после этого начались споры и разногласия вокруг смешанных обществ.

Скрытые трения продолжались беспрерывно. Незримые для некоммунистического мира, они скрыто вспыхивали на партийных верхах — в связи с вербовкой в советскую разведку, которая с особой наглостью велась в государственном и партийном аппарате, а также в идейной области, главным образом из-за советского пренебрежения к югославской революции. Советские представители в Югославии с демонстративным недоумением реагировали на выдвижение Тито наряду со Сталиным, а особенно болезненно относились к самостоятельным югославским связям с восточноевропейскими странами и к росту там ее авторитета.

Трения вскоре перешли и на экономические отношения, в особенности когда югославам стало очевидно, что они при осуществлении пятилетнего плана не могут рассчитывать на советскую помощь сверх обычных торговых отношений. Ощутив сопротивление, Сталин заговорил о том, что смешанные общества непригодны для дружеских и союзных стран и обещал всяческую помощь. Но одновременно его тор-

говые представители использовали экономические выгоды, проистекавшие в результате обострения югославско-западных отношений и югославских иллюзий, что СССР — государство неэгоистичное и не стремящееся к гегемонии.

Югославия, наряду с Албанией, была единственной восточноевропейской страной, освободившейся от фашистского нашествия и одновременно совершившей внутреннюю революцию без решающей помощи Красной армии. Социальная перестройка пошла в ней дальше, чем где бы то ни было и в то же время она находилась в самом выдающемся пункте формирующегося советского восточного блока. В Греции шла гражданская война — Югославию обвинили, что она инспирирует ее и поддерживает материально и ее отношения с Западом, в особенности с США, были натянуты до предела.

Сегодня, глядя в прошлое, мне кажется, что советское правительство не только с удовлетворением наблюдало за обострением этих отношений, но даже предпринимало шаги для их ухудшения, следя, конечно, чтобы все это не вышло за рамки его собственных интересов и возможностей. Молотов в Париже чуть не обнял Карделя, узнав, что над Югославией сбиты два американских самолета — но одновременно внушал ему, что третий сбивать не следует. Советское правительство не поддерживало непосредственно восстание в Греции, оставляя Югославию почти в одиночестве на скамье подсудимых ООН, но и не предпринимало никаких решительных действий, чтобы добиться замирения — до тех пор, пока это не стало выгодно Сталину.

Так и решение поместить Коминформ в Белграде было только на первый взгляд признанием югослав-

ской революции. За ним стоял тайный советский замысел: югославское руководство должно забыться в революционном самодовольстве и подчиниться мнимой международной коммунистической солидарности — на самом деле признать гегемонию советского государства и выполнять ненасытные требования советской политической и иной бюрократии.

Пора уже поговорить и об отношении Сталина к революциям, а следовательно и к революции югославской.

В связи с тем, что Москва — часто в самые решительные моменты — отказывалась от поддержки китайской, испанской, а во многом и югославской революции, не без основания преобладало мнение, что Сталин был вообще против революций. Между тем, это не совсем верно. Он был против революции лишь в той мере, в какой она выходила за пределы интересов советского государства. Он инстинктивно ощущал, что создание революционных центров вне Москвы может поставить под угрозу ее монопольное положение в мировом коммунизме — что и произошло на самом деле. Поэтому он революции поддерживал только до определенного момента, до тех пор, пока он их мог контролировать — всегда готовый бросить их на произвол судьбы, если они ускользали из его рук. Я считаю, что в политике советского правительства и сегодня в этом отношении не произошло заметных перемен.

Подчинив себе весь актив своей страны, Сталин не мог действовать по-иному и вне ее границ. Сравняв понятия прогресса и свободы с интересами одной политической партии в своей стране, он и в других странах мог вести себя только как повелитель. Он низвел себя до своего дела. Он сам стал

рабом деспотизма и бюрократии, узости и серости — всего того, что он навязал своей стране.

Потому что верно сказано: невозможно отнять чужую свободу, не потеряв при этом собственную.

2

Причиной моей поездки в Москву были разногласия в политике Югославии и СССР по отношению к Албании.

В конце декабря 1947 года из Москвы пришла телеграмма, в которой Сталин требовал, чтобы приехал я или кто-нибудь другой из югославского Центрального комитета для согласования политики наших правительств по отношению к Албании.

Разногласия проявлялись по-разному, а ярче всего вспыхнули после самоубийства Спиру Наку, члена албанского Центрального комитета.

Связь Югославии с Албанией развивалась во всех областях. Югославия посылала в Албанию все большее количество специалистов по разным отраслям. Она поставляла Албании продукты питания, хотя нуждалась сама. Началось создание смешанных обществ. Оба правительства в принципе стояли на точке зрения, что Албания должна объединиться с Югославией, что разрешило бы и вопрос албанского национального меньшинства в Югославии.

Условия, на которых югославское правительство оказывало поддержку албанскому, были гораздо более выгодными и справедливыми, чем, например, те, на которых советское предоставляло поддержку югославскому. Но, по-видимому, дело было не в справедливости, а в самой сути этих отношений —

часть албанского руководства была тайно настроена против них.

Спиру Наку, небольшого роста, физически слабый, чрезвычайно чувствительный и утонченно интеллигентный, руководил в то время хозяйственными делами албанского правительства и первым открыто взбунтовался против Югославии, требуя самостоятельного развития Албании. Его точка зрения была резко отрицательно встречена не только в Югославии, но и в албанском Центральном комитете. Особенно решительно восстал против него Кочи Дзодзе, албанский министр внутренних дел, впоследствии расстрелянный по обвинению в симпатиях к Югославии. Рабочий с юга Албании, старый революционер, Дзодзе считался самым непоколебимым партийцем, несмотря на то, что генеральным секретарем партии и председателем правительства был Энвер Ходжа — человек несомненно более образованный и гораздо более ловкий. Ходжа тоже присоединился к критике против Наку, хотя его собственная точка зрения так и осталась невыясненной. Оказавшись в одиночестве, обвиненный в шовинизме и, вероятно, накануне исключения из партии, несчастный Наку застрелился, не подозревая, что с его смерти начнется обострение югославско-албанских отношений.

Происшествие, конечно, было скрыто от общественности — позже, после открытого конфликта с Югославией в 1948 году Энвер Ходжа вознес Наку на пьедестал национального героя. Но на руководство обеих стран происшествие оставило тяжелое впечатление и его не могли сгладить фразы из обширного арсенала коммунистических шаблонов — что Наку был малодушен, что он был мещанином и тому подобное.

Советское правительство было прекрасно осведом-

лено как о подлинных причинах смерти Наку, так и о взаимоотношениях Югославии с Албанией. Размеры советской миссии в Тиране все увеличивались. И вообще, отношения между советским, албанским и югославским правительствами были таковы, что два последних не особенно прятали свои дела от первого, хотя надо сказать, что югославское правительство не советовалось с советским о деталях своей политики.

Советские представители все чаще высказывали недовольство по поводу отдельных югославских мер в Албании. Замечено было также все большее сближение группы вокруг Энвера Ходжи с советской миссией. То и дело выплывали на поверхность упреки того или иного советского представителя: почему югославы организуют с албанцами смешанные общества, если сами не хотят создавать их с СССР? Почему они посылают инструкторов в албанскую армию, когда в их собственной — советские? Каким образом югославы могут быть специалистами по развитию Албании, если им самим нужны специалисты со стороны? Как это вдруг Югославия, сама бедная и отсталая, берется помогать развитию Албании?

На фоне этих разногласий между советским и югославским правительством все заметней становилась тенденция Москвы занять место Югославии в Албании. Югославам это казалось крайне несправедливым, поскольку объединяться с Албанией предстояло не Советскому Союзу и к тому же он не был ее непосредственным соседом. Одновременно все больше бросался в глаза поворот албанских верхов к Советскому Союзу и это все яснее выражалось и в их пропаганде.

За предложение советского правительства устра-

нить разногласия вокруг Албании, в Белграде ухватились обеими руками, хотя и по сей день неясно, почему Сталин выразил желание, чтобы в Москву прибыл именно я.

Думаю, что он сделал это по двум причинам.

Я, несомненно, оставил на него впечатление порывистого и открытого человека — думаю, что таким меня считали и югославские коммунисты. В этом качестве я подходил для открытой дискуссии по сложному и весьма щекотливому вопросу.

Но я считаю также, что Сталин хотел склонить меня на свою сторону, чтобы расколоть и подчинить себе югославский Центральный комитет. На его стороне были Хебранг и Жуйович. Но Хебранг был уже исключен из Центрального комитета и находился под тайным следствием в связи с неясным поведением в королевской полиции. Жуйович был выдающейся личностью, но хотя он и был членом Центрального комитета, он не принадлежал к узкому кругу, создавшемуся вокруг Тито во время борьбы за единство партии и в самой революции. Сталин меня уже во-время пребывания Тито в Москве в 1946 году — когда тот сказал, что я страдаю головными болями — пригласил отдыхать к себе в Крым. Но я не поехал, главным образом из-за того, что приглашение не было повторено через посольство и я принял его за любезность, произнесенную мимоходом.

Так я двинулся в Москву — если правильно помню, 8 января 1948 года, но во всяком случае где-то вокруг этого числа — с двойственным чувством. Я был польщен, что Сталин пригласил именно меня, но в глубине души молча подозревал, что это сделано не случайно и не с вполне честными намере-

ниями по отношению к Тито и югославскому Центральному комитету.

Никаких особых распоряжений и инструкций в Белграде я не получал. Поскольку я был в верховном руководстве и поскольку уже была определена точка зрения, что советские представители должны были бы воздерживаться от нетактичных высказываний по поводу выработанного курса на объединение Югославии и Албании или от проведения какой бы то ни было особой линии — никаких инструкций мне и не требовалось.

Благоприятный случай использовали и представители югославской армии, отправив вместе со мной делегацию, которая должна была сформулировать свои пожелания в области вооружения и отстройки военной промышленности. В эту делегацию вошли тогдашний начальник генштаба Коча Попович и ведающий югославской военной промышленностью Мийалко Тодорович. Светозар Вукманович — Темпо, в то время начальник политуправления армии, тоже ехал с нами, чтобы ознакомиться с опытом Красной армии в этой области.

Мы направились в Москву поездом, в хорошем настроении и с большими надеждами. Но, одновременно — с уже сформировавшейся точкой зрения, что Югославия свои вопросы должна решать посвоему и, главным образом, собственными силами.

3

Эта точка зрения была высказана даже раньше, чем следовало — на ужине в югославском посольстве в Бухаресте, на котором присутствовали Анна Паукер — румынский министр иностранных дел и

несколько крупных политиков Румынии.

Все югославы — кроме посла Голубовича, который позже эмигрировал как сторонник Москвы — более или менее открыто подчеркивали, что Советский Союз не может быть абсолютным образцом в «строительстве социализма», потому что обстоятельства изменились и в разных странах Восточной Европы разные условия и взаимоотношения. Я заметил, что Анна Паукер, внимательно слушая, молчит или нехотя соглашается кое с чем, стараясь избежать разговора на эту деликатную тему. Один из румын, думаю, что это был Боднарош, спорил с нашей точкой зрения, а другой — имя его я к сожалению забыл — добродушно с нами соглашался. Подобные разговоры я считал излишними, так как был уверен, что все наши высказывания будут переданы русским, а они неспособны будут воспринять их иначе, как «антисоветские» — синоним всех мировых зол. Но вместе с тем я не мог отказаться от своих взглядов. Поэтому я старался смягчить высказывания, подчеркивая заслуги СССР и принципиальное значение советского опыта. Но это навряд ли принесло пользу, так как и я подчеркивал, что свой путь следует прокладывать в соответствии со своими конкретными условиями. Впрочем, неприятность устранить было невозможно: я уже знал, что советские верхи не склонны к нюансам и компромиссам, в особенности в собственных — коммунистических рядах.

Поводов для критики у нас повсюду было достаточно, хотя в Румынии мы были проездом.

Первым поводом было отношение Советского Союза к Румынии и другим восточноевропейским странам: эти страны все еще находились под прямой оккупацией, а их богатства выкачивались всевозможными способами, чаще всего через смешанные об-

щества, в которые русские почти ничего не вложили, кроме немецкого капитала, который они просто объявили своей военной добычей. Торговля с этими странами происходила не как повсюду в мире, а на основании специальных договоров, по которым советское правительство покупало по более низким, а продавало по более высоким ценам, чем на мировом рынке. Одна лишь Югославия составляла исключение из этого правила. Мы все это знали. А картина нищеты и сознание беспомощности и послушности румынских властей только усиливали наше негодование.

Больше всего нас оскорбляла надменность советских представителей. Я помню, как нас ужаснули презрительные слова советского коменданта в Яссах:

— Ах, эти грязные румынские Яссы! И эти румынские мамалыжники!

И он повторил летучие слова Эренбурга и Вышинского, направленные против взяточничества и воровства в Румынии:

— Это не народ, это профессия!

Яссы, особенно в ту мягкую зиму, были действительно грязной, запущенной балканской провинцией, красоту которой — холмы, сады, дома, расположенные терассами — мог заметить только привычный глаз. Но мы-то знали, что советские провинциальные города выглядят не лучше, а даже хуже. Больше всего же нас раздражала эта самоуверенность «высшей расы» и великодержавная спесь. Предупредительное, полное уважения отношение к нам не только еще сильнее подчеркивало унижение румын, но и усиливало нашу гордость своей независимостью, заставляло рассуждать еще свободней.

Мы уже принимали как нормальное, что такие

отношения и взгляды «возможны и при социализме», потому что «такие уж русские» — отсталые, в течение долгого времени изолированные от остального мира, с уже угасшими революционными традициями.

Несколько часов мы проскучали в Яссах, пока не прибыл советский поезд с правительственным вагоном для нас, который сопровождал, конечно, неизбежный капитан Козовский, специалист по югославским делам в советских органах госбезопасности. Но он теперь был менее непосредственным и не таким веселым — конечно не только потому, что перед ним были министры и генералы. Какая-то неощутимая, необъяснимо холодная официальность появилась в отношениях между нами и советскими «товарищами».

Мы не скупились на саркастические замечания в адрес вагона, в котором мы ехали и который того заслуживал, несмотря на комфорт, прекрасное питание и услужливость персонала. Нас смешили громадные медные ручки, старинная перегруженность украшений и клозет, настолько высокий, что свисали ноги. Разве так надо репрезентировать и надо ли вообще репрезентировать великую державу и государственную мощь? Но что было парадоксальнее всего — в этом вагоне, помпёзном, как в царское время, проводник в своем купе держал в клетке курицу, которая там даже неслась. Плохо оплачиваемый и бедно одетый, он плакался:

— Что хотите, товарищи, рабочий человек должен изворачиваться, как может — семья большая, жить трудно.

Хоть и югославские железные дороги не могли похвалиться точностью, но здесь никто не волновался из-за многочасового опоздания. «Доедем» — спокойно отвечал кто-нибудь из служащих.

Россия как бы подтверждала неизменность своей человеческой и национальной души — всем своим существом она сопротивлялась суете индустриализации и всесилию администрации.

Украина и Россия, заваленные снегом до крыш, все еще представляли собой картину военного опустошения и ужаса — сгоревшие станции, бараки, женщины в платках и валенках, расчищающие пути, кипяток и кусок черного хлеба.

Только Киев и на этот раз оставил впечатление скромной красоты и чистоты, культуры и любви к моде и вкусу — среди нищеты и пустоты. И хотя ночь закрыла вид на Днепр и на равнины, сливающиеся с небом, Киев все-таки напоминал Белград — Белград будущего, миллионный, отстроенный с любовью и последовательностью. Но в Киеве мы оставались недолго — до поезда в Москву. Никто из украинских руководителей нас не встретил. Вскоре мы двинулись в ночь, белую от снега и черную от печали — только один наш вагон был освещен и полон удобства и изобилия среди безбрежья разрушений и нищеты.

4

Прошло вероятно всего несколько часов после нашего прибытия в Москву — мы были погружены в сердечную беседу с югославским послом Владимиром Поповичем, когда на его столе зазвонил телефон: из советского министерства иностранных дел запрашивали, устал ли я, так как Сталин хотел бы меня видеть сразу, в этот же вечер. Такая спешка была необычной для Москвы, где иностранные коммунисты дожидались всегда так долго, что среди них

ходила поговорка: в Москву приехать легко, но трудно уехать. Если бы я даже и устал, то, разумеется, все равно принял бы приглашение Сталина обеими руками — все члены делегации с восторгом, но не без зависти на меня смотрели, а Коча Попович и Тодорович внушали мне, чтобы я не забыл с какой целью они сюда прибыли, хотя я свое путешествие с ними использовал для того, чтобы детально ознакомиться с их пожеланиями.

Но я радовался предстоящей встрече со Сталиным, одновременно трезво раздумывая о причинах такой спешки. Это двойственное чувство не покидало меня в течение всей этой ночи, проведенной с ним и другими советскими руководителями.

Как обычно меня отвезли около девяти часов вечера в Кремль. Там были Сталин, Молотов и Жданов — я знал, что обязанностью последнего в Политбюро было поддерживать связи с иностранными компартиями.

После обычных приветствий Сталин сразу перешел к делу:

— А у вас там в Албании стреляются члены Центрального комитета! Это нехорошо, очень нехорошо!

Я начал разъяснять: Наку Спиру противился связи Албании и Югославии, он самоизолировался в собственном Центральном комитете. Но я еще не окончил, а Сталин, неожиданно для меня, сказал:

— У нас в Албании нет никаких особых интересов. Мы согласны на то, чтобы Югославия проглотила Албанию! — При этом он сложил вместе пальцы правой руки и поднес их ко рту, как бы глотая.

Меня удивил, почти ошеломил сталинский способ выражения и его жест, но не знаю, отразилось ли это на моем лице, потому что я попытался превратить все в шутку и воспринял как обычный сталин-

ский грубоватый и красочный способ высказывания мыслей. Я снова начал объяснять: мы хотим не проглатывать, а объединяться!

Но тут вмешался Молотов:

— Так это и значит проглотить!

А Сталин — опять с этим своим жестом:

— Да, да, проглотить. Но мы с этим согласны: вам надо проглотить Албанию — чем скорее, тем лучше.

Вся атмосфера, несмотря на такой метод выражения, была сердечной и более, чем дружеской. Даже и Молотов фразу о проглатывании произнес почти с шутливой любезностью, для него не такой уж частой.

К сближению и объединению с Албанией я подходил с искренними и, естественно, революционными побуждениями. Я как и многие другие считал, что объединение при действительно добровольном согласии албанского руководства, принесло бы не только непосредственные выгоды и Югославии и Албании, но одновременно покончило бы с традиционной нетерпимостью и конфликтами между сербами и албанцами. И — что по моему мнению было особенно важно — это дало бы возможность присоединить значительное и компактное албанское меньшинство к Албании, как отдельной республике в югославско-албанской федерации. Любое другое решение проблемы албанского национального меньшинства в Югославии казалось мне нереальным, так как просто передача Албании югославских территорий, населенных албанцами, вызвала бы непреодолимое сопротивление и в самой югославской коммунистической партии.

Я ни тогда, ни сегодня не мог оспаривать естественное право албанцев на объединение, тем более,

что я требовал такого же права и для югославов — в данный момент, например, от Италии. К Албании и албанцам я относился кроме того с особой симпатией, которая могла только укрепить идейность моих побуждений: албанцы, в особенности северные, по характеру и образу жизни сродни черногорцам, из которых я происхожу, а их жизнеспособность и воля к сохранению своей самобытности таковы, что подобных им мало в истории человечества.

Мне, конечно, и в голову не приходило отказаться от точки зрения руководства моей страны и согласиться со Сталиным, но слова Сталина немедленно вызвали у меня две мысли: первую о том, что с югославской политикой в Албании что-то не в порядке, а вторую — что Советский Союз объединился с балтийскими странами, именно их проглатывая — замечание Молотова прямо говорило об этом.

Обе мысли слились в одно тягостное ощущение.

Может быть в югославской политике по отношению к Албании и есть что-то неясное и непоследовательное, подумал я — но она далека от «проглатывания». У меня мелькнула мысль, что эта политика не отвечает стремлениям албанских коммунистов — которые я, как коммунист, приравнивал к воле албанского народа. Почему застрелился Наку — ведь он был гораздо больше коммунистом и марксистом, чем «мещанином» и «националистом»? А что, если албанцы — как и мы, югославы, в отношениях с Советским Союзом — хотят иметь свое собственное государство? Если объединение осуществлять против воли народа, используя изоляцию и бедность Албании — не поведет ли это к непоправимым конфликтам и трудностям? Характерные и древние как этническое целое, албанцы, как нация, молоды — отсюда непреодолимое и неизжитое национальное соз-

нание. Не воспримут ли они объединение как потерю независимости, как отказ от самобытности?

Что касается второй мысли — о том, что СССР проглотил балтийские страны — то я связывал ее с первой, повторяя и доказывая себе: мы, югославы, на объединение с Албанией не пойдем, не смеем пойти, таким путем. А что какая-либо империалистическая сила, вроде Германии, подавит Албанию и использует ее как базу против Югославии — такой опасности не существует.

Но Сталин возвратил меня к реальности:

— А что Ходжа, что он за человек, по вашему мнению?

Я избегал прямого и ясного ответа, но Сталин выразил именно то мнение, которое создалось о Ходже на югославских верхах:

— Он мещанин, склонный к национализму? Да, и мы так думаем. Кажется, там самый твердый человек Дзодзе?

Я подтвердил его наводящие вопросы.

Сталин окончил разговор об Албании, который не продолжался и десяти минут:

— Между нами нет расхождений. Вот вы лично и составьте Тито от имени советского правительства телеграмму об этом и пришлите мне ее завтра.

Боясь, что не понял, я переспросил, а он повторил, что я должен составить телеграмму югославскому правительству от имени советского правительства.

Сначала я воспринял это, как знак особого ко мне доверия и как высшую степень одобрения югославской политики по отношению к Албании. Но составляя эту телеграмму на следующий день, я подумал, что она может быть когда-то использована против правительства моей страны и сформулировал ее осторожно и очень коротко — примерно так:

«Вчера в Москву прибыл Джилас и на встрече, состоявшейся в тот же день, обнаружилось полное единодушие между советским правительством и Югославией по вопросу Албании».

Эта телеграмма югославскому правительству никогда отправлена не была, но и не была использована против него в последовавших конфликтах между Москвой и Белградом.

Остальная часть разговора тоже продолжалась недолго и вращалась вокруг несущественных вопросов — размещения Коминформа в Белграде, его печатного органа, здоровья Тито и тому подобного.

Выбрав удобный момент, я поставил вопрос об оборудовании для югославской армии и военной промышленности. Я указал, что мы часто наталкиваемся на трудности в делах с советскими представителями, что они отказывают нам то в одном, то в другом, отговариваясь «военной тайной». Сталин встал, воскликнул:

— У нас нет от вас военных тайн. Вы дружественная социалистическая страна — у нас от вас нет военных тайн.

Затем он подошел к рабочему столу, вызвал по телефону Булганина и коротко приказал ему:

— Здесь югославы, югославская делегация — их надо немедленно выслушать.

Весь разговор в Кремле продолжался около получаса, потом мы отправились ужинать на сталинскую дачу.

Мы сели в автомобиль Сталина, как мне показалось, тот же самый, в котором мы с Молотовым ехали в 1945 году. Жданов сел сзади, справа от меня, а перед нами на вспомогательных сиденьях — Сталин и Молотов. Во время поездки Сталин на перегородке перед собой зажег лампочку, под которой

висели карманные часы — было около двадцати двух часов и я прямо перед собой увидел его уже ссутулившуюся спину и костлявый затылок с морщинистой кожей над твердым маршальским воротником. Я подумал: вот — это один из самых могущественных людей нашего времени, здесь и его сотрудники — какая бы это была сенсационная катастрофа если бы сейчас между нами взорвалась бомба и разнесла бы нас в куски! Но это была мгновенная нехорошая мысль и настолько неожиданная для меня самого, что я пришел от нее в ужас и в Сталине, с печальной симпатией увидел дедушку, который в течение всей своей жизни, и сейчас вот тоже, заботился об успехе и счастье всего коммунистического рода.

Ожидая приезда остальных, Сталин, Жданов и я остановились возле карты мира в холле. Я снова засмотрелся на Сталинград, очерченный синим карандашом — Сталин снова это заметил и от меня опять не ускользнуло, что это ему приятно. Жданов тоже уловил этот обмен взглядами, включился в него и заметил:

— Начало Сталинградского сражения.

Но Сталин ничего не сказал.

Насколько я помню, Сталин начал отыскивать на карте Кёнигсберг, потому что его следовало переименовать в Калининград — и мы натолкнулись на места вокруг Ленинграда, которые еще с екатерининских времен назывались по-немецки. Сталину это не понравилось и он сказал кратко Жданову:

— Переименовать — глупо, что эти места до сих пор носят немецкие названия!

Жданов вынул записную книжечку и карандашиком записал сталинское распоряжение.

После этого мы с Молотовым прошли в уборную,

находившуюся в подвале дачи — там было несколько уборных и писсуаров. Молотов начал уже на ходу расстегивать брюки, комментируя:

«Это мы называем разгрузкой перед нагрузкой!»

А я, хотя мне подолгу пришлось бывать в тюрьмах, где человек вынужден забывать стыд, застеснялся Молотова как пожилого человека, зашел в уборную и закрыл за собой дверь.

Затем мы вошли в столовую, где уже собрались Сталин, Маленков, Берия, Жданов и Вознесенский.

Двое последних — новые лица в этих моих воспоминаниях.

Жданов был небольшого роста с каштановыми подстриженными усами, с высоким лбом, острым носом и болезненно красноватым лицом. Он был образованным человеком и в Политбюро считался крупным интеллектуалом. Несмотря на его общеизвестную узость и начетничество, я сказал бы, что его знания были достаточно обширны. Но несмотря на то, что он понемногу разбирался во всем, даже в музыке, я не думаю, чтобы он обладал обширными знаниями в одной определенной области — это был типичный интеллектуал, который накапливал сведения из разных областей посредством марксистской литературы. Он был вдобавок, интеллигентом-циником, что еще более отталкивало, так как за подобной интеллигентностью неизбежно скрывался сатрап, «великодушный» к людям духа и литературы. Это было время «постановлений» советского ЦК по вопросам литературы и других видов искусства, то есть жестоких атак на ту минимальную свободу выбора темы и формы, которая еще сохранилась или выскользнула во время войны из-под бюрократического партийного контроля. Жданов в этот вечер, помню, рассказал в виде нового анекдота, — как в

Ленинграде уразумели его критику в адрес Зощенко: у писателя просто отняли продуктовые карточки, и вернули их только после великодушного вмешательства Москвы.

Вознесенский, председатель Госплана СССР, которому едва ли перевалило за сорок, был типичным русским, блондином с выдающимися скулами, довольно высоким лбом и вьющимися волосами. Он оставлял впечатление аккуратного, культурного и прежде всего замкнутого человека, который мало говорил, но все время радостно внутренне улыбался. Я уже читал его книгу о советской экономике во время войны и у меня осталось впечатление об авторе, как о добросовестном и думающем человеке — позже эту книгу в СССР раскритиковали, а Вознесенский был ликвидирован по причинам, которые до сих пор остались неизвестными.

Я довольно хорошо знал старшего брата Вознесенского, профессора университета, как раз в это время назначенного министром просвещения РСФСР.

Со старшим Вознесенским у меня были очень интересные дискуссии во время Всеславянского съезда в Белграде зимой 1946 года. Мы с ним сошлись на том, что официально признанная теория «социалистического реализма» узка и одностороння. Еще более единодушно мы считали, что в социализме, вернее коммунизме, после создания новых социалистических стран, замечаются новые явления — и что в капитализме есть перемены, еще теоретически не изученные. Вероятно и его красивая умная голова пала в безумных чистках.

Ужин начался с того, что кто-то, думаю, что сам Сталин, — предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля и потом, в виде штра-

фа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся. Я, к счастью, посмотрел на термометр в отеле и прибавил несколько градусов, зная, что ночью температура падает — так что ошибся всего на один градус. Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки.

Подобное начало ужина породило во мне еретическую мысль: ведь эти люди, вот так замкнутые в своем узком кругу, могли бы придумать и еще более бессмысленные поводы, чтобы пить водку — длину столовой в шагах или число пядей в столе. А кто знает, может быть они и этим занимаются! От определения количества водки по градусам холода вдруг пахнуло на меня изоляцией, пустотой и бессмысленностью жизни, которой живет советская верхушка, собравшаяся вокруг своего престарелого вождя, и играющая одну из решающих ролей в судьбе человеческого рода. Вспомнил я и то, что русский царь Петр Великий устраивал со своими помощниками похожие пирушки, на которых жрали и пили до потери сознания и решали судьбу России и русского народа.

Ощущение опустошенности такой жизни не исчезало, а постоянно ко мне во время ужина возвращалось, несмотря на то, что я гнал его от себя. Его особенно усугубляла старость Сталина с явными признаками сенильности. И никакие уважения и любовь, которые я все еще упрямо пестовал в себе к его личности, не могли вытеснить из моего сознания этого ощущения.

В его сенильности было что-то трагическое и уродливое.

Но трагическое не было на виду — трагическими были мои мысли о неизбежности распада даже та-

кой великой личности. Зато уродливое проявлялось ежеминутно.

Сталин и раньше любил хорошо поесть, но теперь он проявлял такую прожорливость, словно боялся, что ему не достанется любимых блюд. Пил же он сейчас, наоборот, меньше и осторожнее, как бы взвешивая каждую каплю — чтобы не повредила.

Еще более заметным был упадок его мысли. Он охотно вспоминал свою молодость — ссылку в Сибири, детство на Кавказе, новое же каждый раз сравнивал с чем-нибудь из прошедшего:

— Да, помню, то же самое было...

Непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я видел его в последний раз, в 1945 году, он был еще подвижным, с живыми и свежими мыслями, с острым юмором. Но тогда была война и ей, очевидно, Сталин отдал последнее напряжение сил, достиг своих последних пределов. Сейчас он смеялся над бессмысленными и плоскими шутками, а политический смысл рассказанного мною анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, не только до него не дошел, но мне показалось, что он по-старчески обиделся — на лицах присутствующих я увидел неловкость и озадаченность.

В одном лишь он был прежним Сталиным: резкий, острый, подозрительный при любом несогласии с ним. Он прерывал даже Молотова и между ними чувствовалась напряженность. Все ему поддакивали, избегая излагать свое мнение прежде, чем он не выскажет свое, спешили с ним согласиться.

Как обычно разговор перескакивал с темы на тему — так я его и буду извлекать из памяти.

Сталин заговорил и об атомной бомбе:

— Это сильная вещь, силь-ная!

На его лице было выражение восхищения, ясно

было, что он не успокоится до тех пор, пока и сам не добудет эту «сильную вещь». Но он ничего не сказал, есть ли она уже у СССР, идет ли над нею работа.

Между тем, когда Кардель и я месяц спустя встретились в Москве с Димитровым, он нам как бы по секрету рассказал, что у русских уже есть атомная бомба, причем лучше американской, то-есть той, что была сброшена на Хиросиму. Думаю, что это не соответствовало действительности и что русские только создавали атомную бомбу. Но разговор был и я его привожу.

В эту ночь, и потом на встрече с болгарской делегацией, Сталин говорил, что Германия остается разделенной:

— Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!

Эта его мысль была новой, однако понятной — она исходила из всего курса советской политики по отношению к Восточной Европе и по отношению к Западу. Непонятным для меня было заявление Сталина и советских руководителей в присутствии болгар и югославов летом 1946 года, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Один из присутствующих, когда я его спросил: — А как русские думают это осуществить? — ответил мне: — Вот этого и я не знаю!

Я думаю, что не знали и те, кто произносил это заявление и что они еще были опьянены военными победами и надеждой на экономический и иной распад Западной Европы.

Сталин меня внезапно, в конце ужина, спросил, почему в югославской партии мало евреев и почему

они не играют в ней никакой роли? Я попытался объяснить:

— Евреев в Югославии вообще немного и в большинстве они принадлежали к среднему слою. — Я добавил: — Единственный выдающийся коммунист-еврей это Пияде, но и он больше чувствует себя сербом, чем евреем.

Сталин начал вспоминать:

— Пияде, небольшой, в очках? Да, помню, он был у меня. А какая его функция?

— Член Центрального комитета, старый коммунист, переводчик «Капитала», — объяснил я.

— А у нас в Центральном комитете евреев нет! — прервал меня он и начал вызывающе смеяться: — Вы антисемиты! И вы, Джилас, и вы антисемит!

Этот смех и его слова я понял, как и следовало, в обратном смысле — как выражение его антисемитизма и вызов, чтобы я высказал свое мнение о евреях, в особенности о евреях в коммунистическом движении. Я молчал и посмеивался — это мне было нетрудно, поскольку я антисемитом никогда не был, а коммунистов разделял только на хороших и плохих. Но Сталин вскоре и сам оставил эту скользкую тему, удовлетворившись циничным вызовом.

Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа многословный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций:

— Все точно во-время, в прекрасной упаковке и отличного качества.

Он закончил:

— Мы сделали ошибку, что их не оккупировали — теперь бы все было уже кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:

— Да, это была ошибка — мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили.

Молотов:

— Ах, Финляндия — это орешек!

Жданов как раз в это время организовывал встречи с композиторами и готовил «постановление» о музыке. Он любил оперы и между прочим спросил меня:

— А у вас в Югославии есть оперные театры?

Удивленный его вопросом, я ответил:

— В Югославии оперы идут в девяти театрах! — и одновременно подумал: как мало они знают о Югославии. Видно, что они ею интересуются только как географической областью.

Жданов, единственный из всех, пил апельсиновый сок. Объяснил, что из-за болезни сердца. Я его спросил:

— А какие последствия могут быть от этой болезни?

Сдержанно улыбнувшись, он ответил с обычной иронией:

— Могу умереть в любой момент, а могу прожить очень долго.

Действительно, было заметно, что он чрезмерно возбуждается, что у него нервная, повышенная реакция.

Новый план был только что принят и Сталин, ни обращаясь ни к кому определенно, подчеркнул, что надо бы повысить заработную плату преподавательскому составу. Затем он сказал мне:

— Наши преподаватели очень хороши, а зарплата у них низкая — надо что-то предпринимать.

Все согласились с ним, а я не без горечи вспомнил про низкое жалованье и плохие условия жизни

югославских работников просвещения и про свое бессилие им помочь.

Вознесенский все время молчал — он держался как младший среди старших. Сталин обратился к нему непосредственно только один раз:

— Можно ли вне плана выделить средства для постройки канала Волга-Дон? Дело очень важное! Мы должны изыскать средства! Страшно важное дело и с военной точки зрения: в случае войны нас могли бы вытеснить из Черного моря — наш флот слаб и еще долго будет слабым. А что бы мы в таком случае делали с судами? Подумайте, как пригодился бы нам черноморский флот, если бы мы его во время сталинградского сражения имели на Волге! Этот канал имеет первостепенную — первостепенную важность.

Вознесенский согласился, что средства необходимо изыскать, вынул записную книжечку и записал.

Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные — и я хотел узнать мнение Сталина.

Одно было из области теории: ни в марксистской литературе, ни в другой я не нашел объяснения разницы между словами «народ» и «нация», а поскольку Сталин давно считался среди коммунистов знатоком национального вопроса, я спросил его мнения, добавив, что об этом он не говорил в своей книге о национальном вопросе. Она была опубликована еще до первой мировой войны и с тех пор считалось, что в ней выражена подлинная большевистская точка зрения.

В мой вопрос сначала вмешался Молотов:

— Это одно и то же — народ и нация.

Но Сталин не согласился:

— Нет, вздор! Это разные вещи! — и начал разъяснять: — Нация — это уже известно, что: продукт

капитализма с определенными характеристиками, а народ — это трудящиеся определенной нации, то есть, трудящиеся с одинаковым языком, культурой, обычаями.

А насчет своей книги «Марксизм и национальный вопрос» он заметил:

— Это точка зрения Ильича, Ильич книгу и редактировал.

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты.

Сталин на это ответил просто:

— Великий писатель — и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением — как по методу, так и по глубине изображения русской революции — «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, обойдя тему о методе:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и «Фома Гордеев». Что же касается изображения русской революции в «Климе Самгине» — так там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?!

Я поправил:

— Кутузов — Лютов совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно, а с литературной точки зрения его ранние произведения лучше.

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не сошлись бы во вкусах, хотя я и

раньше слыхал мнения крупных писателей, которые, как и он, считали названные им произведения Горького наилучими.

Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал:

— Сейчас есть и лучшие, — и назвал две неизвестных мне фамилии, одну из них женскую.

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность. То же самое я думал и об «Истории философии» Александрова.

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра — один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

Вечер не мог обойтись без пошлости, конечно со стороны Берия. Меня заставили выпить стопку перцовки. Берия, скаля зубы, объяснил, как эта водка плохо воздействует на половые железы, употребляя при этом самые грубые выражения. Пока Берия говорил, Сталин внимательно смотрел на меня, готовый расхохотаться. Заметив мою кислую реакцию, он остался серьезным.

Но и без этого я никак не мог отогнать от себя это поразительное сходство между Берией и королевским белградским полицейским Вуйковичем — оно усилилось до такой степени, что я просто физически ощущал, будто нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича-Берии.

Но выразительнее всего была атмосфера, царив-

шая не зависимо от произнесенных слов и даже вопреки им, во время всего этого шестичасового ужина. За всем, что говорилось, постоянно ощущалось что-то более важное — нечто, что надо было высказать, но что начать высказывать никто не умел или не смел. Натянутость беседы и выбора тем способствовала тому, что это нечто ощущалось как реальность, почти доступная слуху. Внутренне я даже безошибочно знал его содержание: критика Тито и югославского Центрального комитета — в данном положении равносильная вербовке меня на сторону советского правительства. Особенную активность проявлял Жданов, не чем-то конкретным, ощутимым, а внесением какой-то особой сердечности, интимности в отношения и в разговор со мной. Берия смерил меня своими полузакрытыми зеленоватыми жабьими глазами, а выражение самодовольной иронии не сходило с его четырехугольных мягких губ. Над всем и над всеми был Сталин — внимательный, весьма размеренный и холодный.

Безмолвные паузы между двумя темами были все более длительными, напряжение во мне и вокруг меня все росло. Я быстро выработал тактику обороны — она очевидно уже до этого сама подготовлялась во мне полусознательно — я просто скажу, что не вижу расхождения между югославским и советским руководством, что цели их совпадают и тому подобное. Глухо, упрямо росло во мне сопротивление и хотя я и прежде не ощущал в себе никаких колебаний. Зная себя, я понимал, что из обороны мог легко перейти в наступление, если бы Сталин и остальные поставили бы меня перед моральной дилеммой — выбрать между ними и моей совестью, в данном случае между их и моей партией, между Югославией и СССР. Чтобы заранее подготовить свои

позиции, я как бы невзначай несколько раз упомянул Тито и свой Центральный комитет — но так, чтобы мои собеседники не могли начать свой разговор.

Напрасна была также попытка Сталина внести личные, интимные элементы. Он спросил меня, вспомнив свое приглашение в 1946 году, переданное через Тито:

— А почему вы не приехали в Крым? Почему вы отказались от моего приглашения?

Я ждал этого вопроса, но все же был несколько неприятно удивлен, что Сталин про это не забыл. Я объяснил:

— Ждал приглашения через советское посольство, мне было неудобно навязываться самому, надоедать.

— Нет, чепуха, при чем тут надоедать. Вы просто не хотели приехать! — испытывал меня Сталин.

Но я замкнулся в себя — в холодную сдержанность и молчание.

Так ничего и не произошло. Сталин и его группа холодных, рассчетливых заговорщиков — а я их ощущал именно такими — несомненно учуяли мое сопротивление. А я как раз этого и хотел. Я избежал разговор, а они не решились спровоцировать меня на сопротивление. Они, конечно, считали, что не сделали преждевременного и поэтому ошибочного шага. Но и я распознал эту подлую игру и ощутил в себе какую-то внутреннюю, незнакомую мне до тех пор силу, способность отказаться даже от того, чем я до тех пор жил.

Ужин закончил Сталин, подняв тост в память Ленина:

— Выпьем за память Владимира Ильича, нашего вождя, учителя — наше все!

Мы все встали и выпили в немой сосредоточенности — о ней мы, подвыпившие, быстро забыли, в то время как у Сталина все еще было растроганное, торжественное, но одновременно сумрачное выражение лица.

Мы отошли от стола, но до того, как расходиться, Сталин запустил громадный автоматический проигрыватель. Он пытался и танцевать, как на своей родине — видно было, что он не лишен чувства ритма, но вскоре он остановился, сказав удрученно:

— Стареем, и я уже старик!

Но его помощники — чтобы не сказать бояре — начали его убеждать:

— Ах, нет, что вы! Вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держитесь, ей-богу, для ваших лет...

Затем Сталин пустил пластинку, на которой колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление и неудовольствие, стал объяснять, чуть ли не извиняясь:

— Нет, это все-таки хорошо придумано, чертовски хорошо придумано.

После моего ухода все еще остались, но уже готовые к отъезду — действительно, что можно было еще говорить после столь продолжительной пирушки, на которой было высказано все, кроме того, для чего она собиралась.

6

Не прошло и двух дней как нас вызвали в Генштаб для того, чтобы мы изложили наши пожелания.

Еще в поезде я обратил внимание Кочи Поповича

и Мийалка Тодоровича на то, что их желания кажутся мне преувеличенными и нереальными. Особенно у меня не вмещалось в голове, что русские могут согласиться на отстройку югославской военной индустрии, если они не пожелали серьезно помочь нам даже в отстройке индустрии гражданской. Еще менее вероятным казалось мне, что они дадут нам военный флот, которого у них самих нет. Аргумент, что безразлично, чей флот в Адриатическом море, СССР или Югославии, если и та и другая страна — части единого коммунистического мира, показался мне мало убедительным, потому что как раз в этом единстве ощущались трещины — не говоря уже о советской недоверчивости ко всему, что не находится непосредственно в их руках и об их откровенном стремлении соблюдать в первую очередь интересы своего государства. Но эти пожелания были уточнены и одобрены в Белграде и мне ничего не оставалось, как поддерживать их.

На встрече председательствовал Булганин, окруженный высшими военными специалистами, среди которых был и начальник Генштаба маршал Василевский.

Сначала я в общих чертах изложил наши нужды, предоставив Тодоровичу и Поповичу разъяснять детали.

Советские представители не высказывали своего мнения, но внимательно входили в суть дела и все записывали.

Здание Генштаба — дешевку и манерность которого тщетно пытались замаскировать роскошью интерьера, кричащими шторами и позолотой — мы покинули удовлетворенные, в уверенности, что проблемы сразу сдвинулись с мертвой точки и что скоро начнется подлинная, конкретная работа.

Так оно и выглядело — Тодоровича и Поповича вскоре начали вызывать на какие-то совещания. Но вскоре все застопорилось и советские представители намекнули нам, что «произошли осложнения» и что надо ждать.

Нам было ясно, что между Москвой и Белградом что-то происходит, и хотя мы точно не знали в чем дело, нельзя сказать, что это нас удивило. Во всяком случае, затягивание переговоров могло только усугубить наше критическое отношение к советской действительности и к позиции Москвы по отношению к Белграду. Тем более, что мы оказались без работы и вынуждены были убивать время на вечеринках и в старомодных — но как таковых непревзойденных — московских театрах.

Никто из советских граждан не смел нас посещать, потому что мы, хотя и прибыли из коммунистической страны, подпадали под категорию иностранцев, с которыми граждане СССР, согласно букве закона, не смели общаться. Все наши контакты сводились к служебным каналам — в министерстве иностранных дел и в Центральном комитете. Это нас раздражало и оскорбляло, тем более, что в Югославии таких ограничений не было, а уж тем более не было их для представителей и граждан СССР. Это тоже заставляло нас делать критические выводы.

Наша критика еще не была обобщающей, но изобиловала примерами из конкретной жизни. Вукманович-Темпо находил в домах армии недостатки и открыто о них говорил. Коча Попович и я, чтобы не было так скучно, переехали из отдельных аппартаментов в гостинице «Москва» — но нас переселили в общие номера только после того, как их привел в порядок «электрик» — мы поняли, что он устанавливал аппаратуру для подслушивания. Несмотря

на то, что «Москва» была новой и самой большой гостиницей, в ней ничто не функционировало как следует — было холодно, краны текли, а ванны, привезенные из Восточной Германии, нельзя было использовать, потому что вода из стока попадала прямо на пол. В ванной не было ключей, что послужило Коче Поповичу пищей для его остроумия: по его утверждению архитектор понимал, что ключ может потеряться и поместил раковину вблизи дверей, чтобы их можно было придерживать ногой. Я часто с сожалением вспоминал свое пребывание в гостинице «Метрополь» в 1944 году — там все было старым, но исправным и добротным, а пожилые служащие говорили по-английски и по-французски и вели себя любезно и сдержано.

Как-то в ванной послышались стоны. Я застал там двух работников — один поправлял проводку на потолке, а другой держал его на плечах.

— В чем дело, товарищи, — спросил я — почему вы не принесете какую-нибудь лестницу?

Рабочие жаловались:

— Сколько раз мы требовали лестницу от управления, но все зря — вот так все время и мучаемся.

Гуляя вокруг, мы увидели, что «красавица Москва» большей частью захолустная деревня, запущенная и неотстроенная. Шофер Панов, которому я из Югославии послал в подарок часы и с которым я установил сердечные отношения, никак не мог поверить, что в Нью-Йорке и Париже больше автомашин, чем в Москве, хотя не скрывал свое недовольство качеством новых советских автомобилей.

В Кремле, где мы осматривали гробницы царей, девушка-гид с национальным пафосом говорила о «наших царях». Превосходство русских выставлялось и приобретало уродливо-комический облик.

И так повсюду — на каждом шагу открывались нам неизвестные до тех пор стороны советской действительности: отсталость, примитивность, шовинизм, великодержавие, конечно наряду с героическими сверхчеловеческими попытками все это преодолеть и подчинить нормальному течению жизни.

Зная, что в жестких черепах советского руководства и политических органов малейшее критическое замечание немедленно превращается в антисоветскую позицию, мы, не сговариваясь, замкнулись от русских в свой круг. А поскольку мы прибыли с политической миссией, мы начали указывать друг другу на «неловкое» поведение или неосторожные слова. Изоляция начала приобретать и организованный характер. Я помню, что мы, помня об аппаратуре для подслушивания, начали контролировать свои слова в гостинице, в кабинетах, разговаривать при включенных радиоаппаратах.

Советским представителям это должно было броситься в глаза. Напряжение и недоверие постепенно наростали.

В это время уже был привезен саркофаг Ленина — во время войны он был спрятан где-то в провинции. Мы его как-то утром тоже посетили. Само посещение не ознаменовалось бы ничем особенным, если бы не вызвало во мне и у других новый и до тех пор незнакомый протест. Медленно спускаясь в мавзолей, я заметил, как простые, в платках, женщины крестятся, как-будто подходят к раке святителя. Впрочем и меня охватило мистическое ощущение, забытое со времен ранней молодости. Больше того, все было так и устроено, чтоб создать в человеке именно такое ощущение — гранитные блоки, застывшая стража, невидимый источник света над Лениным, и сам его труп, ссохшийся и белый, как

известковый, с редкими волосинками, как будто их кто-то сажал. Несмотря на все свое уважение к ленинскому гению, мне казались неестественными и, главное, антиматериалистическими и антиленинскими эти мистические сборы возле ленинских останков.

Даже если бы мы были заняты, мы захотели бы увидеть Ленинград — город революции и красоты. Я с этой целью посетил Жданова и он любезно согласился с поездкой. Но я заметил в нем и сдержанность. Встреча продолжалась не дольше десяти минут. Однако он не забыл спросить, что я думаю о заявлении Димитрова в «Правде» в связи с его поездкой в Бухарест, во время которой он высказался за координацию промышленного планирования и создание таможенной унии между Болгарией и Румынией. Я сказал, что заявление мне не нравится — оно определяет болгаро-румынские отношения изолированно и преждевременно. Жданов тоже не был доволен этим заявлением, хотя не назвал причины — она вскоре обнаружилась и я еще о ней скажу более подробно.

Примерно в это время в Москву прибыл представитель югославской внешней торговли Богдан Црнобрнья и поскольку ему не удавалось разрешить главные вопросы с советскими учреждениями, он насел на меня, чтобы я с ним посетил Микояна, министра внешней торговли.

Микоян принял нас холодно, не скрывая нетерпения. Среди прочего мы хотели, чтобы русские отдали нам обещанные прежде железнодорожные вагоны из своих оккупационных зон — многие из них были забраны из Югославии, а русские их все равно не могли использовать из-за более широкой колеи.

— А как это вы себе представляете — на каких

условиях мы должны их отдать, по какой цене? — спросил Микоян.

Я ответил:

— Просто подарите их нам!

Он коротко ответил:

— Я занимаюсь не подарками, а торговлей.

Напрасно мы с Црнобрньей настаивали на перемене договора о продаже советских фильмов, неравноправного и невыгодного для Югославии. Под предлогом, что другие восточноевропейские страны могли бы посчитать это прецедентом, Микоян отказался даже рассматривать этот вопрос.

Но он сразу заговорил по-иному, когда разговор пошел о югославской меди — тут он предложил нам оплату в любой валюте или товаром — причем вперед за любое количество.

Так мы ничего от него не добились — только продлили бесплодные и бесконечные разговоры. Было ясно: колеса советской машины заторможены в югославском направлении.

Поездка в Ленинград внесла облегчение и свежесть.

До посещения Ленинграда я не верил, что что-либо может превзойти по жертве и героизму повстанческие области и партизан Югославии. Но Ленинград превосходил югославскую революционную действительность — может быть не столько геройством, сколько коллективной жертвенностью. В миллионном городе, отрезанном от тыла, без топлива и питания, под непрерывными налетами тяжелой артиллерии и авиации, умерло в зиму 1941-1942 годов от холода и голода около 300.000 душ, люди доходили до людоедства, но мысль о сдаче даже не появлялась. Но это общая картина.

Только когда мы столкнулись с реальностью — с

конкретными случаями жертвенности и геройства и живыми людьми, которые их совершали или были их свидетелями, мы ощутили всю грандиозность ленинградской эпопеи и увидели, на что способны человеческие существа — русский народ, когда под ударом находятся основы их духовного, государственного и иного существования.

Встреча с руководящими работниками Ленинграда добавила к нашему восхищению человеческую теплоту. Это были в большинстве своем простые, образованные и трудовые люди, которые пронесли на своих плечах и еще несли в своих сердцах трагическое величие города. Но они жили монотонной жизнью и обрадовались встрече с людьми из других краев и другой культуры. Мы легко и быстро нашли с ними общий язык — как люди со схожей судьбой. И хотя мы и не думали в их присутствии упрекать советское руководство, все же мы смогли заметить, что эти люди подходят к жизни своего города и граждан более непосредственно и по-человечески, чем Москва.

Мне казалось, что с ними я быстро нашел бы общий политический язык — потому, что нашел человеческий.

Право, я не удивился, когда через два года узнал, что эти люди не избежали тоталитарных жерновов — уже потому, что посмели быть людьми.

Но в этой светлой и печальной ленинградской поездке было и неприятное пятно — наш сопровождающий Лесаков. И в то время в Советском Союзе можно было встретить работников, вышедших из рабочих и народных низов. И по Лесакову — по его недостаточной грамотности и простоте — было видно, что он вчерашний рабочий. Но эти недостатки не были бы изъяном, если бы он не пытался их пря-

тать и не предъявлял бы весьма назойливо претензий превышающих его возможности. На самом-то деле он пробился наверх не собственными силами и умением, его вытащили на поверхность и ввели в аппарат Центрального комитета, где он занимался югославскими делами. Он был смесью разведчика и партийного работника и появляясь в партийной роли неуклюже собирал информацию о югославской партии и ее руководителях.

Небольшой, с шишковатым лицом и желтыми мелкими зубами, с галстуком, свисшим набок и рубахой, выпроставшейся из брюк, вечно боящийся показаться некультурным, Лесаков был бы даже симпатичен, если бы был скромным трудящимся человеком, не занимал такой крупной должности и не вызывал нас — главным образом именно меня — на неприятные дискуссии. Он хвастал, что «товарищ Жданов вычистил всех евреев из аппарата Центрального комитета!» — и одновременно расхваливал венгерское Политбюро, которое в то время состояло почти исключительно из евреев-эмигрантов. Я подумал, что для советского руководства, несмотря на его скрытый антисемитизм, для Венгрии хороши были именно евреи, причем потерявшие венгерские корни — и поэтому полностью зависящие от его воли.

Я уже слыхал и сам заметил, что в Советском Союзе, когда кого-нибудь ликвидируют не имея для этого убедительных причин, то обыкновенно через секретных сотрудников распространяют о нем какую-нибудь гнусность. Так и Лесаков мне «по секрету» рассказал, что маршал Жуков отодвинут на задний план за грабеж драгоценностей в Берлине. «Знаете, товарищ Сталин не терпит аморальности!» А заместитель начальника Генштаба генерал Анто-

нов, «подумайте, обнаружено, что он по происхождению еврей!»

Было видно, что Лесаков, несмотря на узость ума, хорошо осведомлен об отношениях в югославском Центральном комитете и о методах его работы. «Ни в одной партии в Восточной Европе — сказал он — нет наверху такой сработавшейся четверки, как у вас».

Он не назвал имен этой четверки, но я и без него знал, что это Тито, Кардель, Ранкович и я. И я подумал полувопросительно, полуутвердительно: вероятно эта четверка для советских руководителей — тоже один из «орешков»?

7

Видя, что день за днем проходит впустую, Коча Попович решил ехать домой, оставив в Москве Тодоровича — ждать развязки, вернее ждать, пока советские верхи смилостивятся и возобновят переговоры. Я бы тоже уехал с Поповичем, если бы из Белграда не пришло сообщение, что в Москву прибывают Кардель и Бакарич и что я должен был вместе с ними говорить с советским правительством по поводу «создавшихся затруднений».

Кардель и Бакарич приехали в воскресенье 8 февраля 1948 года. Советское правительство пригласило не их, а Тито, но в Белграде сослались на то, что он себя плохо чувствует — уже по одному этому было видно взаимное недоверие — и вместо него приехал Кардель. Одновременно была приглашена и делегация болгарского правительства и Центрального комитета, о чем нам сообщил неизбежный Леса-

ков, намеренно подчеркнув, что из Болгарии-де прибыли «главные».

Незадолго до этого, 29 января, московская «Правда» дезавуировала Димитрова и отмежевалась от его «сомнительных и надуманных федераций и конфедераций» и таможенных союзов. Это было предупреждением, предвестием предстоящих мер и более твердого курса советского правительства.

Карделя и Бакарича поместили на даче под Москвой и я тоже переселился туда. В ту же ночь, — жена Карделя уже спала, а сам Кардель тоже был в постели — я сел возле него, и тихо как только возможно, сообщил ему мои впечатления о пребывании в Москве и о контактах с советскими верхами. Впечатления сводились к тому, что мы ни на какую серьезную помощь рассчитывать не можем, а должны опираться лишь на свои силы, так как советское правительство определенно проводит политику подчинения, стремясь свести Югославию до уровня оккупированных восточноевропейских стран.

Кардель мне тогда — или сразу же по прибытии — сообщил, что непосредственной причиной спора с Москвой был договор между югославским и албанским правительством о введении в Албанию двух югославских дивизий. Дивизии еще комплектовались, а полк югославской авиации уже находился в Албании, когда Москва решительно воспротивилась этому, не принимая разъяснений, что югославские дивизии должны оборонять Албанию в случае нападения греческих «монархофашистов». В своей телеграмме Белграду Молотов угрожал открытым конфликтом.

Намерение ввести дивизии мне совсем не понравилось, об этом я услыхал впервые и спросил Карделя,

зачем это вообще было нужно. Он отмежевался, сказав, что не участвовал в этом деле...

Я не мог бы подтвердить оглашенную версию, что югославские дивизии направлялись в Албанию только по требованию Энвер Ходжи, которого сделать это подговорила Москва — чтобы иметь возможность обвинять югославское правительство в империалистических и захватнических замыслах. Этим я, конечно, не хочу смягчить ни вероломство, ни жестокость Ходжи, проявленные им впоследствии в самом отвратительном виде по отношению к своим товарищам и собственному народу. Дело тут в фактах, а не в их толковании — факты должны остаться такими, какими были.

Албанское правительство было согласно на ввод югославских дивизий, и хотя я считаю, что согласие не было искренним, досконально разбирая этот случай надо было бы принять во внимание уже расстроенные югославско-советские отношения и, в первую очередь, проанализировать тогдашние отношения между Белградом и Тираной.

На следующий день по приезде Карделя, гуляя в парке под взглядами советских агентов, которые не могли нас подслушать — их лица выражали явную досаду — мы, в присутствии Бакарича, еще более подробно и с более последовательным анализом продолжали разговор с Карделем.

Несмотря на незначительные расхождения в выводах, мы достигли полного единодушия, — я, как обычно, был за более резкие и бесповоротные решения.

Советская сторона никак себя не проявляла до вечера следующего дня, десятого января, когда нас около девяти часов вечера посадили в автомобиль и отвезли в Кремль, в рабочие помещения Сталина.

Там мы минут пятнадцать ожидали болгар — Димитрова, Коларова и Костова. Как только они прибыли, нас всех сразу ввели к Сталину.

Мы сели так, что справа от Сталина, который сел во главе стола, находились советские представители — Молотов, Жданов, Маленков, Суслов, Зорин, слева болгарские — Коларов, Димитров, Костов, а справа югославские — Кардель, я, Бакарич.

Об этой встрече я в свое время представил письменный отчет югославскому Центральному комитету. Но сегодня у меня нет возможности его просмотреть и я полагаюсь на свою память и на опубликованные об этой встрече материалы.

Первым получил слово Молотов, который коротко, как обычно, сообщил, что возникли серьезные расхождения между советским правительством с одной и югославским и болгарским правительствами с другой стороны — что недопустимо ни с партийной, ни с государственной точки зрения.

Примером этих расхождений он назвал подписание союзного договора между Югославией и Болгарией, хотя советское правительство придерживается точки зрения, что Болгария не должна заключать никаких договоров, до того, как с ней не будет подписан мир.

Молотов хотел подробнее коснуться заявления Димитрова в Бухаресте о создании восточноевропейских федераций — в котором Димитров упомянул и Грецию — и таможенного союза и согласования промышленных планов между Румынией и Болгарией. Но Сталин его прервал:

— Товарищ Димитров слишком увлекается на прессконференциях — не следит за тем, что говорит. А все, что он говорит, что говорит Тито, за границей воспринимают как будто это сказано с нашего ведо-

ма. Вот, например, у нас тут были поляки. Я их спрашиваю: что вы думаете о заявлении Димитрова? Они говорят: разумное дело. А я им говорю, нет это неразумное дело. Тогда они говорят, что и они думают, что это неразумное дело — если таково мнение советского правительства. Потому что они думали, что Димитров сделал заявление с ведома и согласия советского правительства, и поэтому и они его одобряли. Димитров потом пытался исправить это заявление через болгарское телеграфное агентство, но ничего не исправил. Больше того, он привел пример, как Австро-Венгрия в свое время препятствовала таможенному союзу между Болгарией и Сербией, из чего само собой напрашивается вывод: раньше мешали немцы, а теперь русские. Вот в чем дело!

Молотов продолжил, говоря, что болгарское правительство идет на федерацию с Румынией, даже не посоветовавшись об этом с советским правительством.

Димитров, пытаясь смягчить, подчеркнул, что он говорил о федерации не конкретно.

— Нет, вы договорились о таможенном союзе, о согласовании промышленных планов, — прервал его Сталин.

Молотов дополнил Сталина:

— А что такое таможенный союз и согласование экономики, как не создание одного государства?

В этот момент сама собою, никем не сформулированная, обнажилась вся сущность встречи: между «народными демократиями» не может развиваться никаких отношений, если они не соответствуют интересам советского правительства и им не одобрены. Стало ясно, что для великодержавно мыслящих советских вождей, рассматривающих Советский Союз «ведущей силой социализма» — и все время помня-

щих, что Красная армия освободила Румынию и Болгарию — заявления Димитрова и недисциплинированность и самоволие Югославии не только ересь, но и покушение на их «священные» права.

Димитров пытался объяснять, оправдываться. Но Сталин его все время перебивал, не давая закончить.

Это был сейчас подлинный Сталин — его остроумие перешло в язвительную грубость, а его нетерпимость в непримиримость. Все же он сдерживался, чтобы не придти в ярость. Поскольку же он ни на мгновение не терял ощущения реальности, он ругал и горько упрекал болгар, зная, что они ему и так покорятся, но целился на самом-то деле в югославов, по народной пословице: дочь бранит, чтобы сноху облаять.

Поддержанный Карделем, Димитров сказал, что Югославия и Болгария на Бледе опубликовали не договор, а только сообщение, а что достигнуто соглашение о договоре.

— Да, но вы не посоветовались с нами! — воскликнул Сталин. — Мы о ваших отношениях узнаем из газет! Болтаете как бабы на перекрестке, что вам взбредет в голову, а журналисты подхватывают!

Димитров — одновременно оправдывая свою точку зрения на таможенный союз с Румынией — продолжает:

— Болгария испытывает такие экономические затруднения, что без более тесного сотрудничества с другими странами не может развиваться. Что касается моего заявления на пресс-конференции — это верно, я увлекся.

Сталин его прервал:

— Вы хотели блеснуть новыми фразами! Это насквозь ошибочно, подобная федерация немыслима. Какие существуют исторические связи между Бол-

гарией и Румынией? Никаких! Уже не говоря о Болгарии и, скажем, Венгрии или Польше.

Димитров оправдывается:

— В сущности между внешней политикой Болгарии и Советского Союза разницы нет.

Сталин, упрямо и жестоко:

— Есть большая разница! К чему это скрывать? Ленинская практика состояла в том, что ошибки надо сознавать и как можно скорей их устранять.

Димитров, примирительно и почти послушно:

— Верно, мы ошиблись. Но мы учимся и на этих ошибках во внешней политике.

Сталин, резко и несмешливо:

— Учитесь! Занимаетесь политикой пятьдесят лет и — исправляете ошибки! Тут дело не в ошибках, а в позиции, отличающейся от нашей.

Я искоса посмотрел на Димитрова: уши его покраснели, а по лицу, в местах, как бы покрытых лишаями, пошли крупные красные пятна. Редкие волосы растрепались и их пряди мертво висели на морщинистой шее. Мне его было жаль. Волк с лейпцигского процесса, дававший отпор Герингу и фашизму в зените их силы, выглядел уныло и понуро.

Сталин продолжал:

— Таможенный союз, федерация между Румынией и Болгарией — это глупости! Другое дело федерация между Югославией, Болгарией и Албанией. Тут существуют исторические и другие связи. Эту федерацию следует создавать чем скорее, тем лучше. Да, чем скорее, тем лучше — сразу, если возможно, завтра! Да, завтра, если возможно! Сразу и договоритесь об этом.

Кто-то — думаю, что Кардель — заметил, что работа над созданием югославско-албанской федерации уже идет.

Но Сталин уточняет:

— Нет, сначала федерация между Болгарией и Югославией, а затем обеих с Албанией.

И потом добавляет:

— Мы думаем, что следует создать федерацию Румынии с Венгрией и Польши с Чехословакией.

Дискуссия на какое-то время успокаивается.

Сталин вопрос федерации больше не развивал — он только позже несколько раз повторил, что надо сразу создать федерацию между Югославией, Болгарией и Албанией. По его изложенной выше точке зрения и по неопределенным намекам советских дипломатов в то время, можно было заключить, что советское руководство вынашивает мысль о перестройке Советского Союза, а именно — о его слиянии с «народными демократиями»: Украины с Венгрией и Румынией, а Белоруссии с Польшей и Чехословакией, в то время, как балканские страны объединились бы с Россией! Но сколь бы туманны и предположительны ни были эти планы, несомненно одно: Сталин искал для восточноевропейских стран такие решения и такие формы, которые бы укрепили и на долгое время обеспечили господство и гегемонию Москвы.

С вопросом о таможенном союзе и болгарско-румынском договоре было, казалось уже покончено, как вдруг заговорил старик Коларов, вспомнивший что-то важное:

— Я не вижу, в чем тут ошибка товарища Димитрова — ведь мы проект договора с Румынией предварительно посылали советскому правительству и оно никак не возражало против таможенного союза, а только против определения понятия агрессора.

Сталин повернулся к Молотову:

— Присылали нам проект договора?

Молотов, нисколько не смутившись, немного язвительно:

— Ну, да!

Сталин, разочарованно и зло:

— И мы делаем глупости.

Димитров уцепился за это новое сведение:

— Это и было причиной моего заявления — проект посылался в Москву, я не предполагал, что вы могли иметь что-либо против.

Но Сталин остался неумолимым:

— Ерунда! Вы зарвались, как комсомолец. Вы хотели удивить мир — как будто вы все еще секретарь Коминтерна. Вы и югославы ничего не сообщаете о своих делах, мы обо всем узнаем на улице — вы ставите нас перед свершившимися фактами!

Костову, который руководил тогда экономическими делами Болгарии, хотелось тоже что-то сказать:

— Трудно быть малым и слаборазвитым государством... Я хотел бы поднять кое-какие экономические вопросы.

Но Сталин его прервал, сказав, чтобы он обратился в соответствующие министерства и подчеркнул, что на этой встрече рассматриваются внешнеполитические расхождения трех правительств и партий.

Наконец слово получил Кардель. Он покраснел — это у него признак возбуждения — втянул голову в плечи и делает паузы во фразах не там, где положено. Он подчеркнул, что договор между Югославией и Болгарией, подписанный на Бледе, был заранее послан советскому правительству и что последнее не сделало никаких замечаний, кроме одного, касающегося продолжительности договора: вместо «на вечные времена» — «на 20 лет».

Сталин молча и с упреком смотрит на Молотова, тот склоняет голову и сжимает губы, фактически подтверждая слова Карделя.

— Кроме этого замечания, которое мы приняли — констатирует Кардель — никаких расхождений не было...

Но Сталин его прерывает, не менее зло, хотя и менее оскорбительно чем Димитрова:

— Ерунда! Расхождения есть, и глубокие! Что вы скажете насчет Албании? Вы нас вообще не проконсультировали о вводе войск в Албанию!

Кардель возразил, что на это существовало согласие албанского правительства.

Сталин кричит:

— Это могло бы привести к серьезным международным осложнениям — Албания независимая страна! Что вы думаете? Оправдывайтесь или не оправдывайтесь, факт остается фактом — вы не посоветовались с нами о посылке двух дивизий в Албанию.

Кардель объяснил, что все это еще не решено окончательно и добавил, что он не помнит ни одного внешнеполитического вопроса, по которому югославское правительство не согласовывало бы свои действия с советским.

— Неправда! — восклицает Сталин. — Вы вообще не советуетесь. Это у вас не ошибка, а принцип — да, принцип!

Прерванный, Кардель умолк, так и не изложив своей точки зрения.

Молотов взял бумагу и прочел место из югославско-болгарского договора где говорится, что Болгария и Югославия будут «...сотрудничать в духе Объединенных наций и поддерживать всякую инициативу, направленную на поддержание мира и против всех очагов агрессии».

— Что это означает? — спрашивает Молотов.

Димитров разъясняет, что смысл этих слов — привязать борьбу против очагов агрессии к Объединенным нациям.

Сталин вмешивается:

— Нет, это превентивная война — самый обыкновенный комсомольский выпад! Крикливая фраза, которая только дает материал противнику.

Молотов снова возвращается к болгаро-румынскому таможенному союзу, утверждая, что это начало слияния двух государств.

Сталин вмешивается, говоря, что таможенные союзы вообще нереальны. После того, как дискуссия снова несколько успокаивается, Кардель замечает, что некоторые таможенные союзы на практике оказываются неплохими.

— Например? — спрашивает Сталин.

— Ну, например, Бенелюкс — говорит осторожно Кардель — в нем объединились Бельгия, Голландия и Люксембург.

Сталин:

— Нет, Голландии там нет, это только Бельгия и Люксембург, — это чепуха, не имеющая значения.

Кардель:

— Нет, туда входит и Голландия.

Сталин упрямо:

— Нет, Голландия не входит.

Сталин смотрит на Молотова, на Зорина, на остальных — я ощущаю желание объяснить ему, что слог «не» в названии Бенелюкс происходит от «Нидерланд» — подлинного наименования Голландии. Но поскольку все молчат, молчу и я — и Бенелюкс остается — без Голландии.

Сталин вернулся к согласованию экономических планов между Румынией и Болгарией:

— Это бессмыслица — вместо сотрудничества вскоре начались бы ссоры. Другое дело объединение Болгарии и Югославии — здесь существует сродство, давнишние стремления.

Кардель подчеркнул, что на Бледе также решено постепенно действовать в направлении создания федерации между Болгарией и Югославией, но Сталин его прерывает, уточняя:

— Нет, не постепенно, а сразу, если возможно — уже завтра. Сначала должны объединиться Болгария и Югославия, а затем к ним присоединиться Албания.

Сталин затем переходит к восстанию в Греции:

— Следует свернуть восстание в Греции, — он именно так и сказал, «свернуть». Верите ли вы — обратился он к Карделю — в успех восстания в Греции?

Кардель отвечает:

— Если не усилится иностранная интервенция и если не будут допущены крупные политические и военные ошибки...

Но Сталин продолжает, не обращая внимания на слова Карделя:

— Если, если! Нет у них никаких шансов на успех. Что вы думаете, что Великобритания и Соединенные Штаты — Соединенные Штаты, самая мощная держава в мире — допустят разрыв своих транспортных артерий в Средиземном море! Ерунда. А у нас флота нет. Восстание в Греции надо свернуть как можно скорее.

Кто-то заговорил о недавних успехах китайских коммунистов. Но Сталин остался на своем:

— Да, китайским товарищам удалось. Но в Греции совершенно иное положение. Греция лежит на жизненно важных коммуникационных путях за-

падных государств. Там непосредственно вмешались Соединенные Штаты — самая мощная держава в мире. С Китаем это другое дело, на Дальнем Востоке иное положение. Правда, и мы можем ошибаться! Вот, когда закончилась война с Японией, мы предложили китайским товарищам найти модус вивенди с Чан Кай-ши. Они на словах согласились с нами, а когда приехали домой, сделали по-своему: собрали силы и ударили. Оказалось, что правы были они, а не мы. Но в Греции другое положение — надо не колеблясь свернуть греческое восстание.

Мне и сегодня не ясны все причины, по которым Сталин был против восстания в Греции. В его расчеты не могло входить создание на Балканах еще одного коммунистического государства — Греции, в то время, как остальные не были обузданы и прибраны к рукам. Еще меньше могли входить в его расчеты международные осложнения, которые приобретали угрожающие формы и могли если не втянуть его в войну, то во всяком случае поставить под угрозу уже занятые территории.

Что же касается успокоения китайской революции, то и здесь, без сомнения, был оппортунизм во внешней политике, а возможно, что он в этой новой коммунистической мировой державе ощущал опасность для своего собственного дела и для своей империи — тем более, что у него не было никаких надежд подчинить Китай изнутри. Во всяком случае, он знал, что каждая революция — уже тем самым, что она новая — превращается в самостоятельный эпицентр и создает свою собственную власть и государство. В случае с Китаем он опасался еще больше, потому что это было событие почти столь же значительное и огромное, как Октябрьская революция.

Дискуссия начала терять темп и Димитров заговорил о развитии дальнейших экономических отношений с СССР, но Сталин его снова прервал:

— Об этом мы будем говорить с совместным болгарско-югославским правительством.

А Костову, на его жалобы по поводу несправедливости договора о технической помощи, Сталин сказал, чтобы он об этом подал «записочку» Молотову.

Кардель спросил, какую позицию следует занять в связи с требованием итальянского правительства о передаче под его опеку Сомалии. Югославия не была склонна к поддержке этого требования, в то время, как Сталин был противоположного мнения и спросил Молотова, направлен ли ответ в этом смысле. Свою позицию он мотивировал так:

— Когда-то цари, если они не могли договориться о добыче, отдавали спорную территорию наиболее слабому феодалу, чтобы потом, в удобный момент, ее у него отнять.

Сталин не забыл, где-то к концу встречи, Лениным и ленинизмом прикрыть свои требования и распоряжения. Он сказал:

— Мы, ученики Ленина, тоже часто расходились во мнениях с самим Лениным, даже ссорились вокруг некоторых вопросов, но потом, все продискутировав, определяли точки зрения — и шли дальше.

Встреча длилась около двух часов.

Но на этот раз Сталин не пригласил нас на ужин в свой дом. Должен признаться, что я почувствовал из-за этого печаль и горечь, настолько во мне была еще сильна человеческая, сентиментальная привязанность к этому человеку.

Я ощущал грусть и какую-то холодную опустошенность. В автомобиле я пытался высказать Кар-

делю свое огорчение встречей, но он, удрученный, подал мне знак, чтобы я молчал.

Это не значит, что мы с ним разошлись во мнениях — мы просто по-разному реагировали.

Насколько велико было смятение Карделя лучше всего видно из того, что на следующий день, когда его повезли в Кремль, подписывать — без разъяснений и без церемоний — договор о консультации между СССР и Югославией, он поставил свою подпись не туда, куда следовало и пришлось подписывать еще раз.

В тот же день — сговорившись об этом еще в прихожей Сталина — мы поехали на обед к Димитрову, чтобы говорить о федерации. Мы сделали это механически — сказались остатки дисциплины и авторитета советского правительства. Но разговор об этом был коротким и вялым — мы сговорились, что свяжемся, как только возвратимся в Софию и Белград.

Из этого, конечно, ничего не вышло, так как месяц спустя Молотов и Сталин начали атаковывать в письмах югославское руководство — при поддержке болгарского ЦК. Разговор о федерации с Болгарией оказался уловкой для того, чтобы нарушить единство югославских коммунистов — петлей, в которую уже ни один идеалист не хотел совать голову.

Из этой встречи с болгарской делегацией я запомнил предусмотрительность, почти нежность Костова к нам. Это было тем более странно, что его югославское коммунистическое руководство считало противником Югославии, и следовательно, «советским» человеком. Между тем он был тоже за независимость Болгарии и потому негодовал на югославов, считая, что они — главные помощники Совет-

ского Союза, а может и сами хотят подчинить себе Болгарию и ее коммунистическую партию. Костов был впоследствии расстрелян по ложному обвинению в сотрудничестве с Югославией. Югославская же печать атаковала его буквально до последнего дня — настолько сильно было недоверие и велики недоразумения под сенью Сталина.

На этой встрече Димитров и рассказал об атомной бомбе, а прощаясь перед дачей, как бы вскользь заметил:

— Дело тут не в критике моих заявлений, а в чем-то другом.

Димитров конечно знал то же, что и мы. Но у него не было сил, а может он уже не обладал таким весом, как руководители Югославии.

Я не опасался, что с нами в Москве может что-нибудь случиться — мы были все-таки представителями независимой страны. Но несмотря на это, я часто видел мысленно боснийские леса, в чащах которых мы укрывались во время самых жестоких немецких наступлений, и где, возле холодных и чистых родников, всегда находили отдых и утешение. Я даже сказал Карделю, или кому-то другому:

— Только бы нам поскорей добраться до наших гор и лесов!

Меня упрекали, что я преувеличиваю.

Мы отбыли через три-четыре дня, — на заре нас отвезли на Внуковский аэродром и безо всяких почестей пихнули в самолет. Во время полета я все сильнее ощущал детскую, но одновременно серьезную, строгую радость, и все реже вспоминал рассказ Сталина о судьбе генерала Сикорского.

Я ли это меньше четырех лет тому назад стремил-

ся в Советский Союз — преданный и открытый всем своим существом?

Еще одна мечта погасла, соприкоснувшись с реальностью.

Не для того ли, чтобы могла возникнуть новая?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие — и среди них конечно Троцкий — особо подчеркивают преступные, кровожадные инстинкты Сталина. Я не хочу этого ни отрицать, ни подтверждать, так как недостаточно знаком с фактами. Недавно в Москве объявлено, что он по всей вероятности убил ленинградского секретаря Кирова, чтобы создать повод для расправы с внутрипартийной оппозицией. Горький умер вероятно не без его содействия — слишком уж назойливо сталинская пропаганда изображала эту смерть как дело оппозиции. Троцкий подозревает его даже в убийстве Ленина, якобы чтобы избавить от мучений. Утверждают, что он убил свою жену, или по меньшей мере довел ее своей грубостью до самоубийства. Потому что слишком уж наивна романтическая легенда, распространявшаяся агентами Сталина — которую я слыхал — что она отравилась, пробуя еду, приготовленную для своего достойного супруга.

Сталин мог совершить любое преступление и не было ни одного, которого бы он не совершил. Каким мерилом его не меряй, ему всегда — будем надеяться, что до конца времен — будет принадлежать слава величайшего преступника в истории. Потому что в нем сочетается бессмысленная преступность Калигулы с утонченностью Борджа и жестокостью Ивана Грозного.

Больше всего я задумывался и задумываюсь над вопросом, как такая мрачная, коварная и жестокая личность могла руководить одной из величайших и

мощных держав — не год, не два, а тридцать лет! Именно это должны разъяснить сегодняшние критики-наследники Сталина. Пока они этого не сделают, именно это обстоятельство будет подтверждать, что во многом они продолжают его дело, питаются его соками — используя те же идеи, формы и средства, что и он.

Верно, что Сталин воспользовался моментом, чтобы подчинить себе обессиленное и впавшее в отчаяние русское послереволюционное общество. Но верно и то, что именно такой человек — решительный, бесцеремонный и весьма практичный в своем фанатизме, был необходим для определенных слоев этого общества, точнее: для находящейся у власти политическо-партийной бюрократии. Правящая партия упрямо и послушно шла за ним. Он ее действительно вел от победы к победе, до тех пор, пока, опьяненный властью, не начал грешить против самой партии. Сейчас она ему только это и ставит в вину, замалчивая гораздо более значительные и во всяком случае не менее жестокие его насилия по отношению к «классовому врагу» — крестьянству и интеллигенции, а также левым и правым течениям в партии и вне ее. И пока эта партия в своей теории, а особенно в практике, не покончит с тем, в чем была вся неповторимая сущность сталинизма, а именно — с идеологическим единством и так называемой монолитностью партии, это будет плохим, но верным признаком, что она не освободилась от призрака Сталина. Поэтому мне кажется слишком мелкой и преждевременной радость по поводу ликвидации так называемой антипартийной группы Молотова — несмотря на всю одиозность его личности и мракобесия его взглядов. Вопрос не в том, лучше ли та или иная группа, а в том, что вообще возможно

их существование — и отказались ли, хотя бы для начала, от идейной и политической монополии, а тем самым и от остальных монополий одной группировки в СССР. Тень Сталина все еще лежит и надо опасаться, что довольно долго будет лежать на Советском Союзе, — если предполагать, что не будет войны. Несмотря на проклятия по его адресу, Сталин еще живет в социальных и духовных основах советского общества.

Возврат к Ленину на словах и в торжественных декларациях не может изменить сути — гораздо легче разоблачить какое-то преступление Сталина, чем умолчать, что этот человек одновременно «построил социализм», то есть заложил фундамент нынешнего советского общества и советской империи. Это говорит о том, что советское общество, несмотря на гигантские технические достижения, — а может быть именно в связи с ними, — если и начало изменяться, то все еще находится в плену у собственных — сталинских, догматических норм.

Но несмотря на этот скептицизм, все-таки не кажутся необоснованными надежды, что в обозримом будущем могут появиться новые мысли и явления, которые если не поколеблют хрущевскую «монолитность», то хотя бы раскроют ее сущность и противоречия. В данный момент для этого нет условий: находящиеся у власти еще настолько бедны, что ни догматизм, ни монопольное властвование не мешают им и не кажутся излишними, а советская экономика все еще в состоянии жить изолированно в своей империи, терпя убытки из-за отрыва от мирового рынка.

Многое, естественно, обретает масштабы и ценность в зависимости от того, откуда на него смотреть.

Так и Сталин.

Если смотреть с точки зрения человечности и свободы — история не знает деспота, столь жестокого и циничного, как Сталин. Он методичнее, шире и тотальнее как преступник, чем Гитлер. Он один из тех редких жутких догматиков, способных уничтожить девять десятых человеческого рода, чтобы «осчастливить» оставшуюся.

Но если проанализировать действительную роль Сталина в истории коммунизма — то там рядом с Лениным он до сих пор наиболее грандиозная фигура. Он не на много развил идеи коммунизма, но защитил их и воплотил в общество и государство. Он не создал идеального общества — это невозможно уже по самой человеческой природе, но он превратил отсталую Россию в промышленную державу и империю, которая все более упрямо и непримиримо претендует на мировое господство. С неизбежностью выяснится, что он реально создал наиболее несправедливое общество современности, если не вообще в истории — во всяком случае оно в одинаковой мере несправедливо неравноправно и несвободно.

Если смотреть с точки зрения успеха и политической находчивости, Сталина вероятно не превзошел ни один государственный муж его времени.

Я, разумеется, не считаю успех в политической борьбе абсолютной ценностью. В особенности я далек от мысли идентифицировать политику с аморальностью, хотя знаю, что политика — уже потому, что это борьба за существование определенных человеческих сообществ — включает в себя и пренебрежение моральными нормами. Делающий большую политику крупный государственный деятель для меня тот, кто умеет слить идеи с реальностью

— кто умеет и может неотступно идти к своим целям, одновременно придерживаясь основных моральных ценностей.

В конечном счете, Сталин чудовище, которое, придерживалось абстрактных, абсолютных и в основе своей утопических идей — успех их на практике был равнозначен насилию, физическому и духовному истреблению.

Но не будем несправедливыми и к Сталину!

То, что он хотел осуществить и то что он осуществлял — никак и невозможно осуществить иным способом. Те, кто его возносил и кем он руководил, с их абсолютными идеалами, замкнутыми формами собственности и власти, на той ступени развития российских и международных отношений, и не могли выдвинуть иного вождя, не могли применять иных методов. Создатель замкнутой социальной системы, Сталин был одновременно ее орудием и, когда изменились обстоятельства, он — слишком поздно — стал ее жертвой. Непревзойденный в насилии и преступлении, Сталин непревзойден также и как вождь и организатор определенной социальной системы. Его «ошибки» виднее чем у остальных и поэтому Сталин — наиболее дешевая цена, которой вожди этой системы хотят выкупить и себя и саму систему с ее гораздо более существенным и крупным злом.

И все же низвержение Сталина — как бы опереточно и непоследовательно оно не проводилось — подтверждает, что правда выходит на поверхность, пусть даже после смерти тех, кто за нее боролся — совесть человеческую нельзя ни успокоить, ни уничтожить.

Но, к сожалению, и сегодня, после так называемой десталинизации, можно сказать то же, что и до нее:

общество, созданное Сталиным, существует в полном объеме — и тот, кто хочет жить в мире, отличном от сталинского, должен бороться.

Белград

Сентябрь-ноябрь 1961 года.

О СТАЛИНЕ, ВЕРОЯТНО, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

1

Я считал, что мои «разговоры со Сталиным» окончены. Но, как уже бывало не раз, я ошибся — так же, как ошибся в своих недавних надеждах, что после «Несовершенного общества» мне не придется больше заниматься «идеологическими вопросами».

Но Сталин — вампир, который все бродит и долго еще будет скитаться по миру. Все отреклись от его наследия, но многие еще черпают из него свои силы. Многие и нехотя подражают Сталину. Хрущев его порицал, но сам восхищался им. Нынешние советские вожди им не восхищаются, но греются в его лучах. И у Тито — через пятнадцать лет после разрыва — возродилось уважение к нему как к государственному деятелю. Да и я спрашиваю себя: может быть и мои размышления о Сталине — признак того, что он все еще живет во мне?

Кто же Сталин — великий государственный муж, «демонический гений», жертва догмата или маньяк и уголовник, дорвавшийся до власти? Чем была для него марксистская идеология, как он использовал идеи? Что думал он о своем собственном деле, о себе самом и о своем месте в истории?

Это лишь несколько вопросов, возникающих в связи с его личностью. Ставлю их потому, что они касаются судьбы современного мира, в особенности

коммунистического, и потому, что они имеют, я сказал бы, глубокое вневременное значение.

Из разговоров со Сталиным мне сегодня особенно четко вспоминаются два его утверждения. Первое — если я хорошо помню — он высказал в 1945 году, а второе — это я помню точно — в начале 1948 года.

Первое утверждение звучало примерно так: если наши идейные предпосылки правильны, то всё остальное должно произойти само по себе. Второе утверждение касалось Маркса и Энгельса. В разговоре кто-то — думаю, что я сам, — подчеркнул, что мировоззрение Маркса и Энгельса живо и современно, на что Сталин — с видом человека, много об этом размышлявшего и пришедшего к бесспорным выводам — может быть, вопреки собственному желанию, — заметил:

«Да, они, без сомнения, основоположники. Но и у них есть недостатки. Не следует забывать, что на Маркса и Энгельса слишком сильно влияла немецкая классическая философия — в особенности, Кант и Гегель. В то время как Ленин от подобных влияний был свободен...»

Эти высказывания на первый взгляд не особенно оригинальны: широко известен коммунистический обычай делить взгляды и поступки на «правильные» и «неправильные» в зависимости от их догматической правоверности и осуществимости. Известно и маниакальное вознесение Ленина в сан единственного защитника и продолжателя дела Маркса. Но в этих утверждениях Сталина есть несколько моментов, не только оригинальных, но и весьма важных для наших рассуждений.

Что означает, в сталинской интерпретации, утверждение, что идейные предпосылки — это основа и залог победы? Разве такая точка зрения не про-

тиворечит основному положению учения марксизма, согласно которому в основе всех идей лежит «экономическая структура общества»?*) Разве такой взгляд, пусть неосознанно, не приближается к философскому идеализму, который учит, что решающее и первичное это — разум и идеи? Ведь ясно, что в упомянутой фразе Сталин не подразумевал мысль Маркса, по которой «теория становится материальной силой, как только охватит массы»,**) а говорил о теориях и идеях до того, как они «охватят массы». Как увязать это с мыслью о Сталине, которой Бухарин поделился с Каменевым еще в июле 1928 года: «Он готов в любой момент изменить свои теории, только для того, чтобы от кого-то избавиться»,***) и откуда у Сталина запоздалое, незамечавшееся прежде, критическое отношение к Марксу и Энгельсу?

Однако, несмотря на все эти вопросы, в приведенных мыслях Сталина нет существенной непоследовательности. Более того, и слова Бухарина о непринципиальности Сталина — если даже забыть о том, что они сказаны с фракционистским упрямством — мне кажется, не противоречат мысли Сталина о решающем значении идей.

Одна из наиболее существенных, если не самая существенная из причин, что противники Сталина в партии — Троцкий, Бухарин, Зиновьев и другие —

---

*) Предисловие к „Prilog kratke političke ekonomije", K. Marx i F. Engels, „Izabrana dela", Beograd, „Kultura", 1949. T. I, str. 338.

**) K. Marx i F. Engels „Rani radovi", Zagreb, „Naprijed", 1967, str. 98.

***) По книге Robert Conquest: „The great Terror", New York, Macmillan Co, 1968, стр. 81.

проиграли в борьбе с ним, та, что он был более оригинальным, более творческим марксистом, чем любой из них. Разумеется, в его стиле нет фейерверков Троцкого, а в его анализах — острого ума Бухарина. Изложения Сталина, это рациональное вйдение социальной реальности, руководство для новых, победоносных сил. Извлеченная из данной реальности, из соответствующих условий и атмосферы, его мысль действительно кажется серой, плоской и беспомощной. Но это лишь ее внешний облик.

Сущность учения Маркса в неразрывности теории и практики:

«Философы мир по-разному толковали, дело в том, что его следует изменить».*)

Коммунизм и коммунисты всегда и всюду побеждали — пока возможно было осуществление этого единства их учения с практикой. Сталину же непостижимую демоническую силу придало упорство и умение соединять марксистско-ленинское учение с властью, с государственной мощью. Потому, что Сталин — не политический теоретик в полном смысле этого слова: он говорит и пишет только тогда, когда его к этому принуждает политическая борьба — в партии, в обществе, а чаще всего и тут и там одновременно. В этом слиянии мысли и реальности, в этом деловитом и неотвлеченном прагматизме и состоит сила и оригинальность взглядов Сталина...

Следует добавить: упуская или недооценивая это качество его взглядов или формально подходя к его текстам, и догматики на Востоке, и многие серьезные исследователи Сталина на Западе, затрудняют

---

*) K. Marx i F. Engels „Rani radovi“, Zagreb, „Naprijed“, 1967, str. 339.

себе сегодня разгадку его личности и условий, в которых он пришел к власти.

Необходимо еще раз повторить, что сталинский марксизм, сталинские взгляды никогда не проявляются — как будто их вовсе и не существует — отдельно от нужд послереволюционного советского общества и советского государства. Это марксизм партии, жизненная необходимость которой — превращаться во власть — в «ведущую», господствующую силу. Троцкий назвал Сталина «самой выдающейся посредственностью в нашей партии»*). Бухарин насмехался над ним, говоря, что он обуян бесплодной страстью стать известным теоретиком.**) Но это все острословие, фракционистские нереальные высказывания. Сталин действительно не мыслил теоретически в полном смысле этого слова. Это не анализ и не ученые рассуждения. Однако для сочетания идеологии с потребностями партии, вернее партийной бюрократии как новой высшей знати, — его мышление намного более ценно, чем мышление всех его противников. Партийная бюрократия стала на сторону Сталина не случайно — как не случайно тирады Гитлера, кажущиеся сегодня безумными, захватили к бросили в бой и на смерть миллионы «рассудительных» немцев. Сталин победил не потому, что он «искажал» марксизм, а как раз потому, что он его осуществлял... Троцкий без конца сыпал парадоксами и проектами мировой революции, Бухарин углублялся в догматические тонкости и возможности обуржуазивания колоний, в то время как Сталин в своих разъяснениях «очеред-

---

*) По Robert Conquest: „The great Terror". New-York, Mackmillan Co, 1969. стр. 71.

**) Там же, стр. 71.

ных задач» существование и привилегии переродившейся и новоявленной партийной бюрократии отождествлял с индустриализацией и усилением России.

При этом Сталин — как каждый прирожденный политик и ловкий администратор — присваивал чужие идеи, облекая их в реальные формы. Так самый знаменитый сталинский шаг — «построение социализма в одной стране» (в СССР) — теоретически начат и развит Бухариным, причем в борьбе против Троцкого... В литературе это можно считать плагиатом или эпигонством, в политике же это — использование возможностей.

Впрочем при жизни Сталина никто не отрицал, что он марксист. Ни один разумный человек этого не делает и сегодня. Несогласия были и есть только в оценке его качеств как теоретика и его последовательности как наследника Ленина.

2

Выше я сказал о качествах Сталина то, что мне кажется наиболее значительным.

Но любой спор о том, кто и в какой мере чей наследник, — кажется мне поверхностным и несущественным. Последовательным, верным наследником может быть только тот, кто не обладает даром видения и творческой силой. Тут дело идет о политике, где мифы неизбежное, повседневное явление, а в данном конкретном случае — об опровержении догматического и демагогического, начетнического подхода к ленинскому наследству. Потому что цитатами можно доказать, и что любой из возможных наследников был верен Ленину, и что ни один из

них ему верен не был. Приблизить к истине нас может только сравнение стремлений Ленина с тем, что осуществил Сталин, и с тем, что предлагали противники последнего.

Мы не можем также избежать анализа так называемого завещания Ленина, поскольку оно играло и все еще играет важную роль не только в догматических, но и в иных, особенно антисоветских, дискуссиях.

«Завещание» Ленина — это на самом деле письмо, которое он диктовал после удара, парализовавшего ночью 22 декабря 1922 года его правую руку и ногу. На следующий день, 23 декабря, врач разрешил ему диктовать по четыре минуты в день — он начал письмо, продолжил его 25 и закончил 26 декабря.

Часть письма, в которой Ленин предлагает съезду увеличить число членов Центрального комитета до 50 — 100 человек и поддерживает Троцкого в вопросе Госплана, была в тот же день передана Сталину как генеральному секретарю партии. Сталина, судя по всему, обуяли подозрения, что Ленин сближается с Троцким и он по телефону осыпал ругательствами жену Ленина Н. К. Крупскую — под предлогом, что она, не взирая на советы врачей, допускает политические обсуждения и подвергает опасности жизнь товарища Ленина. Неизвестно, пожаловалась ли Крупская Ленину, но это вполне вероятно: уже в диктовке от 25 декабря говорится, что «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть»,*) а через десять дней, 4 января 1923 года прибавлена и следующая заметка:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне

---

*) В. И. Ленин, Сочинения, 4-е изд., Москва, Госиздат 1957. Т. 36, стр. 544.

терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом (думаю, что эта часть фразы должна была бы звучать: «ни в чем не отличается от Сталина, кроме одного перевеса». — М. Дж.), именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь которая может получить решающее значение».*)

Сразу бросается в глаза, что «Завещание» не отличается ленинской остротой и точностью выражений: оно неопределенно и двусмысленно, в особенности в наиболее ответственных местах. Ленин явно знает о конфликте Сталина с Троцким и предугадывает его значение. Но в первой диктовке, от 23 декабря, он избегает говорить об этом открыто и в виде лекарства предлагает увеличить число членов ЦК на 50-100 (вместо тогдашних 27) человек «...для усиления авторитета ЦК и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата и для... всех судеб партии» (вероятно надо было написать: для судьбы самой партии». — М. Дж.)

Просто непонятно, как человек, обладающий такой проницательностью и таким политическим опытом, раскалывавший свою собственную партию до

---

*) В. И. Ленин, Сочинения. Т. 36, стр. 545 - 546.

тех пор, пока она не приобрела облик, соответствующий его замыслу — оказавшись во главе величайшей революции и гигантского государства и испытав ядовитое опьянение «историей» и властью — как такой человек смог узреть в увеличении количества членов ЦК чуть ли не откровение и спасение «всех судеб партии»! Что случилось с Лениным? Разве его ум настолько ослабел, что он — всегда считавший, что главное, это принципы и сила — вдруг начал придавать значение цифрам? Разве он забыл о диалектике, о неизбежности наличия противоречия в каждом явлении? Где ленинское проникновение в сущность спора между Сталиным и Троцким? Ленин как будто впервые испугался угрозы разрушения партии, которой он придал формы и указал цель.

Непонятно также, почему Ленин только в следующей диктовке, 24 декабря, упомянул Сталина и Троцкого и их возможные расхождения. Как будто за ночь он передумал и отважился на большую откровенность.

«Наша партия — диктовал он 24 декабря — опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения».*)

Выражаясь весьма нечетко, забывая о своей неизменной и освященной «диктатуре пролетариата», Ленин здесь, очевидно, опасается распада «союза» рабочих и крестьян. Но это явно не имеет никакой ни логической, ни фактической связи с текстом, который следует вскоре за этим:

---

*) В. И. Ленин, Сочинения. Т. 36, стр. 544.

«Я имею в виду устойчивость как гарантию от раскола на ближайшее время и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.

Я думаю, что основным в вопросе устойчивости, с этой точки зрения, являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек (вчерашние чары чисел не покидают Ленина! — М. Дж.)

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС (Народный комиссариат путей сообщения. — М. Дж.) отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела».*)

Ленину и в голову не приходит хотя бы для самого себя, в предсмертный час, разобраться в том, как это могло произойти, что при «советской власти, в миллион раз более демократической, чем самая демократическая буржуазная республика»,**) один человек «сосредоточил в своих руках необъятную власть». Очевидно он испугался не только за

---

*) В. И. Ленин, Сочинения. Т. 36, стр. 544.

**) В. И. Ленин, «Избрана дела», Београд, «Култура», 1956. Т. 2, стр. 38.

партию, но и за свою собственную власть, гораздо более необъятную, чем та, которой тогда обладал его генсек Сталин. И у Ленина обнаруживается хорошо известная «человеческая слабость», проявляющаяся тем заметнее, чем больше «историческая роль» данного человека — отождествление идеи с властью, а власти с собственной личностью.

Но это уводило бы нас в сторону от вопроса: кого из своих сотрудников Ленин считал своим наследником? Очевидно это ни Сталин, ни Троцкий — первый слишком груб, а второй зазнавшийся администратор. Никого из других выдающихся членов ЦК Ленин также не считает достойным быть его наследником.

«Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева не являлся случайностью (дело идет об их выступлении против переворота, то есть Октябрьской революции. — М. Дж.), но что он также мало может быть ставим ему (по-видимому описка: вместо «ему» по смыслу следует «им». — Ред.) в вину лично, как небольшевизм Троцкому».*) (Дело в том, что Троцкий до самого 1917 года был во фракции, противостоящей ленинским большевикам. — М. Дж.)

Обратите внимание на логику, а кстати и на лояльность — по какой причине Ленин говорит об «октябрьском эпизоде Зиновьева и Каменева», подчеркивая, что он «не был случайным», хотя их за него и нельзя обвинять? Почему он подчеркивает «небольшевизм» Троцкого? Когда дело касается власти, то не вредно на всякий случай припомнить и уже «прощеные» «ошибки»...

---

*) В. И. Ленин, Сочинения. Т. 36, стр. 545.

Ленин упоминает и двух более молодых членов ЦК, но тоже — хваля их в первой половине фразы, чтобы укорить во второй:

«Бухарин не только самый ценнейший и крупнейший теоретик партии, он так же законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнение могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)

...Затем Пятаков — человек, несомненно, выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе».*)

Ко всему этому следует прибавить, что следующий, XII съезд партии, состоявшийся в апреле 1923 года, увеличил число членов ЦК до 40, а на XIII съезде, в мае 1923 года, то есть после смерти Ленина, — до 63 членов. На XIII съезде было прочтено и «завещание» Ленина, но его единогласно решили не публиковать. Больше того, Троцкий вообще отрицал существование «завещания»**) — конечно, пока он был еще в партии, а Сталин не скрывал того, что было о нем сказано в «завещании»** — естественно, до тех пор, пока не получил возможность цензурировать и Ленина.

«Завещание» Ленина заслуживает особого, всестороннего анализа. Но уже из приведенных отрывков можно заключить, что Ленин власти не передавал

---

*) В. И. Ленин, Сочинения. Т. 36, стр. 545.

**) И. В. Сталин, «Об оппозиции». Москва, 1928. Стр. 723.

никому и что лишь у одного Сталина он не обнаружил политических недостатков, а только личные. Это соответствует и историческим фактам: только один Сталин и был всегда большевиком, ленинцем. У Сталина были причины хвалиться на пленуме ЦК 23 октября 1927 года: «Характерно, что нет ни одного слова, ни одного намека в «Завещании» о сталинских ошибках. Там только говорится о сталинской грубости. Но грубость не есть и не может быть ущербностью политической линии или позиций Сталина».*)

А как же обстоит дело с наследием Ленина на практике? Кто на самом деле продолжил его дело?

В своем исследовании «Жизнь Ленина» Луи Фишер пришел к выводу, что ссора между Троцким и Сталиным не приобрела бы столь мрачного оборота, и что Советский Союз не погрузился бы в такое тотальное насилие, если Ленин прожил бы еще хоть десять лет. Эту точку зрения можно убедительно отстаивать, она имеет более широкое, теоретическое значение. Однако Ленин не прожил и вопрос продолжения дела Ленина следует рассматривать на фоне реальностей — столкновения Сталина с Троцким, Сталина с оппозицией, сталинского террора, на фоне советской политической и социальной структуры в том облике, какой она приняла при Сталине.

Здесь, разумеется, неизбежны различные интерпретации уже по той причине, что сталинское прошлое Советского Союза и коммунистических движений во многом еще и сегодня живая реальность, вокруг которой борются различные враждующие силы и идеи.

---

*) И. В. Сталин, «Об оппозиции», стр. 723.

Но даже если отбросить детерминистическую точку зрения, согласно которой столь отсталую Россию и столь тотальную идеологию невозможно было привести в движение иначе, как путем тотального административного насилия — мне кажется, что самый последовательный, самый естественный наследник Ленина — Сталин. Это заключение не противоречит даже предположению, что Сталин, возможно, ликвидировал бы и самого Ленина. К такому заключению приводит сущность учения Ленина: в отличие от тех, — включая сюда и Маркса, — кто проповедовал идеальное общество, Ленин боролся за определенную тотальную власть, которая должна была построить это общество — и добился ее. Подобно Марксу, Ленин называл эту власть диктатурой пролетариата. Но Маркс замышлял ее как контроль и напор рабочих масс, а у Ленина она осуществляется посредством «авангарда пролетариата» — партии. Гипотетическому идеальному обществу соответствует негипотетическая идеальная — то есть тотальная — власть.

Сталина можно обвинить во всем, кроме одного — он не предал власти, созданной Лениным. Хрущев этого не понял — не мог и не посмел понять. Он сталинскую власть провозгласил «ошибкой» — отходом от Ленина и ленинизма. Этим он не создал себе популярности в интеллигенции и народе, но испортил отношения с партийной бюрократией, для которой ее история — это часть ее жизни, как для любого сообщества. Джордж Кеннан заметил: в Германии после 1945 года власть не отрицает нацистских злодеяний, хотя меры, предпринимаемые против нацистов, неадекватны их преступлениям. Там непрерывность власти прервана. В то же самое время в Советском Союзе ни один из вождей не от-

рицает, что он продолжает дело той же партии, творит ту же историю. Власть Ленина — при несколько измененных средствах — продолжала жить в Сталине. И не только власть. Но существенной была именно власть. Эта власть — в несколько измененном облике — продолжает существовать и сегодня.

3

Все внутрипартийные противники Сталина — одни в большей, другие в меньшей степени — действовали в нереальном мире. Троцкий был обуян идеей революции — ни больше, ни меньше, как мировой. Бухарин — экономикой, — естественно как базой всего, что существует в мире. Они тосковали по минувшему «товариществу» и проектировали «идеальное» будущее. Сталин же, следуя за Лениным, постепенно понял, что, не изменив значения и роли партии, невозможно будет сохранить новый строй. Во время революции в сплаве партия-власть перевес был на стороне партии. Перемена состояла в том, что — в согласии с ленинским сведéнием государства к принуждению, к органам насилия — теперь перевес получала власть: тайная полиция и ее подразделения.

Конечно, все это происходило постепенно, при видимости сохранения «ведущей роли партии», то есть идеологических и формальных предрассудков. Если при этом не упускать из вида, что власть как таковая несет с собою привилегии и «место в истории», то будет ясно, почему уже с первого дня прихода партии к власти, в ней тоже возникло течение властодержцев: это не Сталин изобрел тоталитарную партийную бюрократию, это она нашла в нем своего вождя.

Именно потому, что он понял реальность данного момента и перспективы на будущее, Сталин мог захватывать врасплох и обыгрывать своих противников. Их привязанность к партии превратилась для них со временем в слабость, а для него — в главное средство: полное «разоружение перед партией» надо было подтверждать признанием в самых гнусных преступлениях — предательствах, саботаже, убийствах. Сегодня известно, что после войны советские инструкторы для процессов над Сланским в Чехословакии, над Райком в Венгрии, а, вероятно, и для других, поделились со своими младшими восточно-европейскими собратьями и этим «идеологическим опытом». Конечно, все это невозможно было осуществить без застенков и палачей, как и в средние века во время процессов над еретиками и ведьмами, — новы лишь мотивировки и средства.

Сталин партию не уничтожил, он ее преобразил, «очистил» и превратил в орудие реальных возможностей. Как Великий инквизитор в «Братьях Карамазовых» он понял, что должен убить бога — партийное товарищество и общество равных, чтобы спасти институцию — советский строй и коммунистические организации. За ним послушно последовала не только политическая бюрократия, но и большинство коммунистов мира, так как обстоятельства принудили их связать свое существование с советским государством, отождествить себя с ним... Чем иначе можно объяснить, что такие тонкие умы, как Тольятти, или героические личности, как Димитров, «не замечали» сталинскую неуклюжую ложь и склонялись перед его чудовищным террором?

С «победами» не только возрастал авторитет Сталина, но и он сам им упивался: власть, идея и Сталин отождествлялись, превращались в одно целое...

Как будто абсолютный дух Гегеля, без разбора воплощаясь в мире, нашел наконец два облика самого себя — мистически-материалистический в Сталине и интуитивно-мистический в Гитлере.

4

Сталин первым изложил теорию «ленинизма» в целом — через три месяца после смерти Ленина (в лекциях «К вопросам ленинизма», в апреле 1924 года). Это была примитивизация, но и одновременное установление догмы — подобно тому, как «Анти-Дюринг» Энгельса по отношению к произведениям Маркса был догматической систематизацией. Сталин, конечно, сделал это не случайно и без опрометчивости. Сам он уже давно понял сущность ленинизма и превратил его в свое знамя. Его взгляды и действия брали верх и в Советском Союзе и в коммунистических движениях. Множество успехов и побед — реальность, как ее видят политики, — были для него «подтверждением» решительного преимущества «наших», то есть его, идейных установок.

Думаю, что по этим же причинам учение Маркса теряло вес в его глазах, хотя он оставался верен его сути, то есть материализму как основе «научного» взгляда на мир и на построение идеального, коммунистического, общества. Внезапные и жестокие припадки гнева не лишали его способности внимательно и осмысленно в продолжение месяцев или даже лет изучать определенный вопрос или противника. Так он подходил и к идеям: ущербность Маркса и Энгельса он ощутил, вероятно, уже тогда, когда формулировал «ленинизм» — сразу после смерти Ленина. Но переломным моментом, вероятно, оказалась война против нацистской Германии: Ста-

лина должно было до основания потрясти нашествие нации, из которой произошли Маркс и Энгельс, — на единственную в мире страну, где восторжествовали их идеи.

Деятельность мирового коммунизма он уже давно поставил в зависимость от советской партии. Война и ее исход как бы подтвердили, что коммунистическая власть способна удержаться только в сфере влияния советского государства. Он создал институт политической бюрократии и поощрял русский национализм не только для того, чтобы утвердить на них свою личную власть, — он видел, что лишь в такой форме возможно сохранить русскую революцию и коммунизм. Вскоре после окончания войны он начал отрицать значение известного военного теоретика фон Клаузевица, несмотря на то, что его очень ценил сам Ленин. Сталин сделал это не потому, что был открыт какой-то лучший теоретик, а потому, что фон Клаузевиц был немцем — представителем нации, чьи войска разбила советская армия, в войне, которая была, может быть, самой значительной в истории русского народа.

Свое отношение к Марксу и Энгельсу Сталин, разумеется, никогда открыто не высказывал. Это поставило бы под угрозу веру верных, а тем самым и его дело и власть. Он сознавал, что победил прежде всего потому, что наиболее последовательно развивал формы, соединяющие догматы с действием, сознание с реальностью.

Сталину было безразлично, исказил ли он при этом ту или иную основу марксизма. Разве все великие марксисты, а в первую очередь Ленин, не подчеркивали, что марксизм есть «руководство для практики», а не собрание догм, и что практика — единственный критерий истины?

Однако проблема здесь и шире и сложнее. Любой строй, а в первую очередь деспотический, стремится достичь состояния устойчивости. Учение Маркса — и без того догматическое — не могло не закостенеть до состояния догмы, как только оно сделалось официальной — государственной и общественной — идеологией. Потому что государство и правящий слой распались бы, если бы ежедневно меняли свои облачения — не говоря уже об идеалах. Они должны жить — в борьбе и в труде приспосабливаться к изменчивой реальности, внешней и внутренней. Это вынуждает вождей «отходит» от идеалов, но так, чтобы сохранить, а по возможности и приумножить собственное величие в глазах своих приверженцев и народа. Законченность, то есть «научность» марксизма, герметическая замкнутость общества и тотальность власти толкали Сталина на непоколебимое истребление идеологических еретиков жесточайшими мерами, — а жизнь вынуждала его самого «предавать», то есть изменять, самые «святые» основы идеологии. Сталин недреманно охранял идеологию, но лишь как средство власти, усиления России и собственного престижа. Естественно поэтому, что бюрократы — считающие, что они и есть русский народ и Россия — по сегодняшний день крутят шарманку о том, что Сталин, несмотря на «ошибки», «много сделал для России». Понятно также, что во времена Сталина ложь и насилие должны были быть вознесены до уровня наивысших принципов... Кто знает, может Сталин в своем проницательном и немилосердном уме и считал, что ложь и насилие и есть то диалектическое отрицание, через которое Россия и человеческий род придут, наконец, к абсолютной истине и абсолютному счастью?

Сталин довел идею коммунизма до ее жизненных и идеологических крайностей, от чего она и «ее» общество начали деградировать. Не успел он сокрушить своих внутренних противников и заявить, что в Советском Союзе построен социализм, не успела закончиться война — как в советском обществе и в коммунистических движениях появились новые течения. Во всяком случае, когда Сталин говорил о решающем значении «идейных установок», он языком своего мира — своей идеологии и своего строя — говорил то же самое, что говорят и другие политические лидеры: если в наших идеях отражается направление движения общества, если мы способны воодушевить ими людей до такой степени, что они организуются соответствующим образом, то мы на правильном пути и должны победить.

Сталин обладал необычно чутким и настойчивым умом. Помню, что в его присутствии невозможно было сделать какого-либо замечания или намека, без того, чтобы он тотчас этого не заметил. И если помнить, какое значение он придавал идеям — хотя они были для него лишь средством — то напрашивается вывод, что он видел и несовершенство созданного при нем строя. Этому сегодня есть немало подтверждений, в особенности в произведениях его дочери Светланы. Так она пишет, как, узнав, что в Куйбышеве создана специальная школа для эвакуированных детей московских партаппаратчиков, он воскликнул:

«Ах, вы!.. Ах вы, каста проклятая!»*)

---

*) Светлана Аллилуева. «Двадцать писем к другу» (русское издание). Харпер и Роу, Нью-Йорк, 1967, стр. 157.

То же самое, — то есть, что в Советском Союзе при Сталине образовалась бюрократическая каста, утверждал не кто иной, как самый лютый враг Сталина — Троцкий. Чудовищные чистки, миллионы расстрелянных и уморенных, только усугубили несправедливость общества и требовали новых насилий, мучений и сведения счетов. Чистками и жестокосердием Сталин разрушил и свою собственную семью. Вокруг него, в конце концов, простирался лишь ужас и опустошение: перед смертью он оклеивал стены своей комнаты фотографиями чужих детей из иллюстрированных журналов, а собственных внуков не желал видеть... Это могло бы быть важным уроком, в особенности для догматических умов «одного измерения», ставящих «историческую необходимость» выше человеческой жизни и человеческих стремлений. Потому что Сталин — один из самых крупных в истории победителей — на самом деле личность, потерпевшая одно из самых жестоких поражений. После него не осталось ни одной долговременной, неоспоримой ценности. Его победа преобразилась в поражение — и личности и идеи.

Что же тогда Сталин? И почему все это так?

В Сталине можно обнаружить черты всех предшествовавших ему тиранов — от Нерона и Калигулы, до Ивана Грозного, Робеспьера и Гитлера. Но — как и любой из них — Сталин явление новое и самобытное. Он был наиболее законченный из всех, и его сопровождал наибольший успех. И хотя его насилие самое тотальное и самое вероломное — мне кажется, что считать Сталина садистом или уголовником было бы не только упрощением, но и ошибкой. В биографии Сталина Троцкий сообщает, что Сталин наслаждался убийством животных, а Хрущев говорил, что Сталин «в последние годы» стра-

дал манией преследования. Мне не известны факты, которые бы подтверждали или опровергали их утверждения. Судя по всему, Сталин наслаждался казнью своих противников. Мне врезалось в память выражение, вдруг появившееся на сталинском лице во время разговора болгарской и югославской делегации со Сталиным и его сотрудниками, 10 февраля 1948 года в Кремле: это было холодное и мрачное наслаждение видом жертвы, чья судьба уже предрешена. Такое же выражение мне приходилось видеть и у других политиков, в момент, когда они «ломали шпагу» своих «заблудших» единомышленников и сонародников. Но всего этого — если оно и соответствует действительности — недостаточно, чтобы объяснить феномен Сталина. В особенности тут не могут помочь ни сомнительные данные, опубликованные несколько лет назад в «Лайфе», что Сталин был агентом царской тайной полиции — охранки, ни утверждения одного американского историка — не столь уж невероятные — что Сталин выдавал царской полиции, не открывая ей при этом своего имени, меньшевиков и других небольшевистских деятелей, которых она арестовывала.

Явление Сталина весьма сложно и касается не только коммунистического движения и тогдашних внешних и внутренних возможностей Советского Союза. Тут поднимаются проблемы отношений идеи и человека, вождя и движения, роли насилия в обществе, значения мифов в жизни человека, условий сближения людей и народов. Сталин принадлежит прошлому, а споры по этим и схожим вопросам если и начались, то совсем недавно.

Добавлю еще, что Сталин был — насколько я заметил — живой, страстной, порывистой, но и высокоорганизованной и контролирующей себя лич-

ностью. Разве в противном случае он смог бы управлять таким громадным современным государством и руководить такими страшными и сложными военными действиями?

Поэтому мне кажется, что такие понятия как преступник, маньяк и в этом роде — второстепенны и призрачны, когда идет спор вокруг политической личности. При этом следует опасаться ошибки: в реальной жизни нет и не может быть политики, свободной от так называемых низких страстей и побуждений. Уже тем самым, что она есть сумма человеческих устремлений, политика не может быть очищена ни от преступных, ни от маньякальных элементов. Потому трудно, если не невозможно, найти общеобязательную границу между преступлением и политическим насилием. С появлением каждого нового тирана мыслители вынуждены наново производить свои исследования, анализы и обобщения.

Но если мы все же примем, что эта граница находится между разумным и эмоциональным, между необходимым и субъективным, то и в таком случае Сталин — один из наиболее чудовищных насильников истории, даже в том случае, если в нем не обнаружат ничего преступного и маниакального. Потому что, если даже согласиться с тем, что, например, коллективизация при данных условиях была разумна и необходима, то очевидно, что ее можно было провести и без истребления миллионов «кулаков». И сегодня еще найдутся догматики, которые возразят против этого: Сталин был увлечен построением социалистического общества, его давило троцкистское обвинение в оппортунизме, стране угрожало фашистское нашествие, которое могло найти опору в «классовом враге». Но что возразят они по поводу вымышленных обвинений и кровавых

чисток в рядах партийной «оппозиции», которая нисколько не угрожала строю и идеологии. Наоборот, ее бессилие и растерянность происходили как раз от догматической преданности идеологии и строю.

Сталинский террор не ограничивается чистками, но они для него характерны. Все партийные оппозиционеры в той или иной мере одобряли преследование «кулаков» и других «классовых врагов». Все они добровольно совали свои шеи в ярмо идеологии — их идеальные цели были те же, что у Сталина. Обвиняя Сталина, что тот не занимается никакой определенной работой, Бухарин подводил базу под собственные иллюзии в отношении, того что сам-то он занимается наукой — экономикой и философией. Ни у одного из них нет нового, по существу, видения, новых идеалов. Сталинские чистки застали их всех, без исключения, врасплох. Чистками Сталин и выделяется среди них, становится тем, чем он стал, и закладывает основы своего дела. Жестокими, разнузданными чистками тридцатых годов Сталин поставил знак равенства между идеей и собственной властью, между государством и собственной личностью. Ничего другого и не могло быть в мире, где царили неоспоримые истины и вера в совершенное бесклассовое общество. Сама цель освятила средство. Дело Сталина лишилось всех моральных, а следовательно и долгосрочных основ жизни. В этом загадка его личности, здесь подлинная мера его дел.

Белград

Июль 1969 года

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Милован Джилас родился 12 июня 1911 г. в с. Поля возле г. Колашина в Черногории. В Белградском университете изучал юриспруденцию и литературу. В 1932 г. вступил в КПЮ, в том же году арестован и пробыл в заключении до 1935 г. В 1937 г. во время внутрипартийных трений примкнул к группе Тито, который реорганизовал компартию Югославии. С 1937 г. М. Джилас — член ЦК КПЮ, с 1940 г. — член Исполкома ЦК КПЮ.

В 1941 г., после занятия Югославии войсками национал-социалистической Германии и фашистской Италии, руководство КПЮ посылает М. Джиласа вместе с М. Пияде для подготовки восстания. В конце 1943 г. М. Джилас входит в президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии — АВНОЮ (на второй сессии АВНОЮ в г. Яйце, где эта организация объявила себя верховным законодательным органом страны с правами парламента). В выделенном АВНОЮ Национальном комитете освобождения Югославии — НКОЮ — который был объявлен временным правительством Югославии, М. Джилас занимал пост министра.

В 1945 г., после окончания второй мировой войны АВНОЮ было переименовано во Временную народную скупщину, куда вошел М. Джилас, получив одновременно пост министра по делам Черногории. В 1948 г. М. Джилас — секретарь Исполнительного бюро ЦК СКЮ. В начале 1953 г. М. Джилас становится одним из четырех вицепрезидентов Югославии, в конце 1953 г. — председателем Союзной на-

родной скупщины. М. Джилас возглавлял делегацию Югославии на нескольких заседаниях ООН. Он также подготавливал югославскую экономическую реформу, которая впоследствии, когда М. Джилас находился в тюрьме, была проведена правительством в сокращенном и измененном виде.

Конфликт с партией и правительством возник у М. Джиласа после того, как он резко выступил против превращения компартии в правящий класс страны и морального ее разложения. Свои мысли он вначале высказал в серии статей, опубликованных в газете «Борба» в октябре 1953 — январе 1954 г. г. В статьях он упрекал режим в переходе на сталинские методы управления, стоял за создание второй социалистической партии, высказывался против вмешательства партии в работу органов правосудия (эти органы, по мнению М. Джиласа «...должны стать органами государства и закона — то-есть народа, — а не политических интересов и мнений в рядах партии... До каких пор мы будем пользоваться идеологическими, а не законными аргументами? До каких пор приговоры будут выноситься на основании диалектического и исторического материализма, а не закона?» — «Борба», 31. 12 1953 г.). 17 января 1954 г. III внеочередной пленум ЦК СКЮ (КПЮ переименована в Союз коммунистов Югославии — СКЮ — на VI съезде партии в ноябре 1952 г.) принял решение о смещении М. Джиласа со всех партийных и правительственных постов на основании того, что его «антимарксистские, антиленинские ревизионистские устремления... были фактически направлены на ликвидацию СКЮ» (БСЭ, второе издание, т. 49, стр. 334, Москва, 1957 г.). Черногория лишила М. Джиласа депутатского мандата, в марте 1954 г. он был исключен из партии. 24 ян-

варя 1955 г. М. Джилас был приговорен условно к 18 месяцам заключения за «клеветнические заявления, в которых он изображал положение в Югославии в злонамеренно искаженном виде». 29 октября 1956 г. М. Джилас открыто одобрил Венгерское восстание, критиковал режим Тито и коммунизм как таковой. За это осужден на 3 года тюрьмы. В этот период ему удается передать своему издателю рукопись книги «Новый класс», после опубликования которой (октябрь 1957 г.) его судят повторно и приговаривают к 7 годам. В январе 1961 г. он досрочно освобожден, однако через 3 месяца снова взят под стражу в связи с опубликованием книги «Разговоры со Сталиным» (обвинен в «разглашении государственных тайн»). В тюрьме М. Джилас пишет серию рассказов («Прокаженный» и др.), книгу о Петре II Негоше, владыке (светском и духовном правителе) Черногорском, выдающемся представителе сербской литературы, переводит с английского «Потерянный рай» Мильтона. М. Джилас написал также автобиографическое произведение «Страна без права».

В декабре 1966 г. М. Джиласа освобождают из-под стражи (он отбывал заключение в известной еще с австровенгерских времен тюрьме г. Сремска Митровица), но не восстанавливают в гражданских правах: в стране он не имеет права публично выступать, его произведения не печатают, не возвращают боевых наград и т. д. Через некоторое время власти допускают его выезд за границу, где М. Джилас выступает с лекциями, дает интервью телевидению. В 1969 г. выходит его книга «Несовершенное общество», которая, как и другие его произведения, запрещена к распространению в Югославии. В апреле 1970 г. М. Джилас готовил новую поездку за

границу с серией докладов, однако у него был отобран паспорт, по мнению осведомленных кругов — не без давления советского правительства, опасавшегося выступлений М. Джиласа именно в месяце, на который приходилось столетие со дня рождения Ленина.

В Советском Союзе имя М. Джиласа популярно среди демократически настроенных советских граждан. В этих же кругах хорошо известна единственная до сих пор переведенная на русский язык в сокращенном виде его книга «Новый класс».

СОДЕРЖАНИЕ